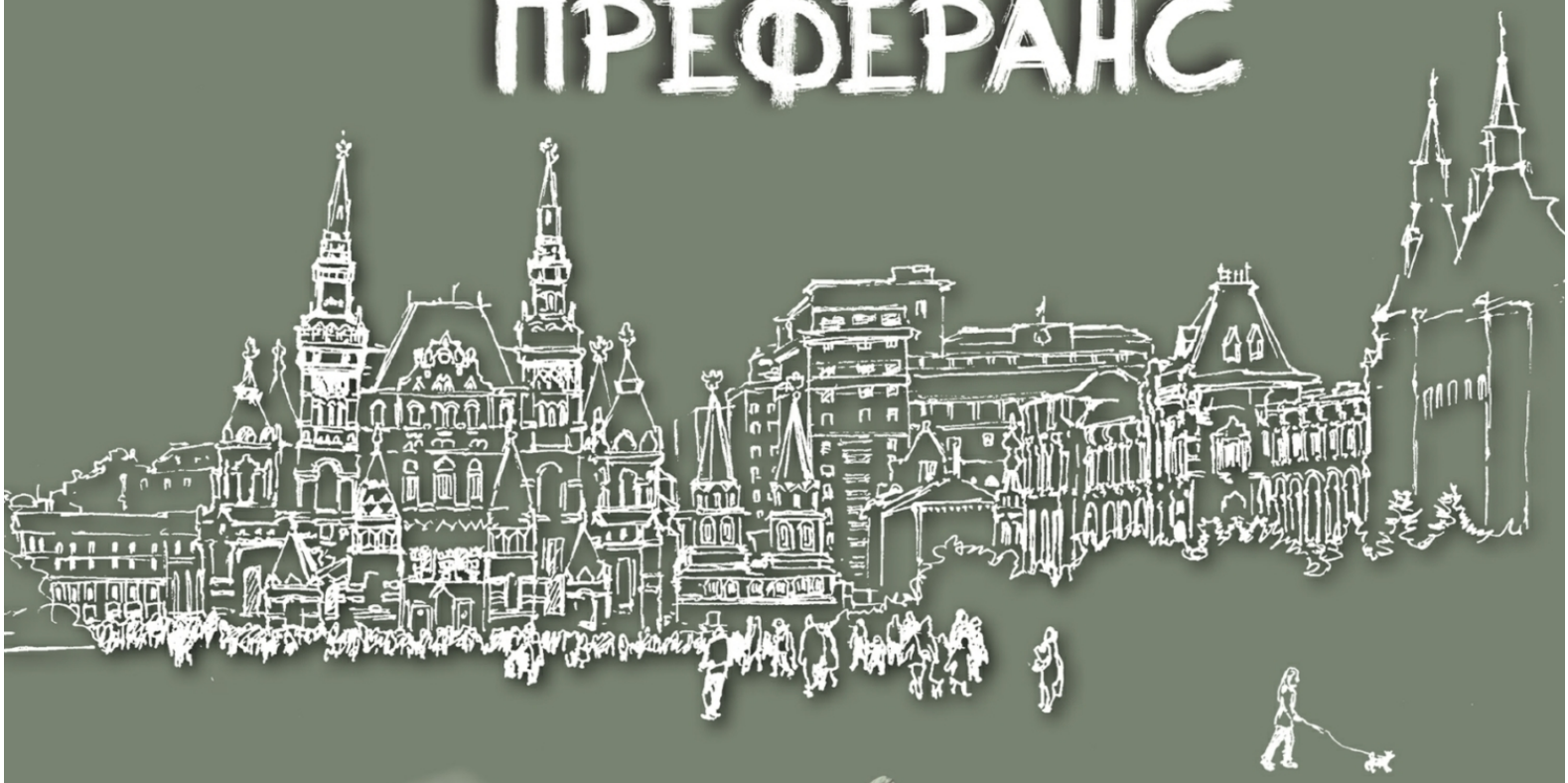
Раиса Лобацкая

Дамский преферанс



18+

Раиса Лобацкая

Дамский преферанс

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Лобацкая Р.

Дамский преферанс / Р. Лобацкая — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Дамский преферанс - игра с множеством непредсказуемых ходов и поворотов, очень похожих на реальную жизнь, когда человеческие судьбы тусуются, словно колода карт, и порой странным образом раскладываются на ломберном столе истории. Упоминающиеся многократно в романе слова, кодирующие хитросплетения старого карточного фокуса (наука умеет много гитик), глубоко символичны: линия жизни каждого игрока-героя полна тайн, сложнее и запутаннее любых карточных многоходовок, а реализм и сюрреализм их судеб так близки, что уже едва различимы.Сюжетная канва романа захватывает последние двадцать пять лет бурной и переменчивой истории нашей страны, многие драматические и трагические события которой получили в романе субъективное авторское прочтение. Прототипами героев стали реальные люди, чьи черты, характеры и судьбы сплелись волей писателя в собирательный образ целого поколения.

© Лобацкая Р., 2017
© ЛитРес: Самиздат, 2017

Содержание

Пролог 5
Маша 9
Марина 14
Дарья 20
Ренат 24
Grandissimo[2] 30
Посланник 36
Разнополый марьяж[3] 39
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Раиса Лобацкая
Дамский преферанс

Пролог

Что наша жизнь? – Игра!!!
А. С. Пушкин, «Пиковая дама»

Они удобно устроились среди древних развалин, наблюдая в лучах заката бесконечную вереницу путников, устремлённых к вершине. Разноликая и пёстрая лента шкуркой роскошной тропической змеи распростёрлась внизу вдоль дороги, заползая на обочины, покрытые то ковылём, то сухостоем, то серыми голышами промытых вековыми дождями камней.

Одни шагали преисполненные беспечной лёгкостью, улыбаясь и насвистывая. Другие понуро, словно измождённые лошади, тянулись в гору с непосильной поклажей лет на плечах, вздыхая и постанывая. Было немало и таких, что, скрестив руки за спиной, шли, споря и переругиваясь с кем-то, чей облик был доступен и понятен лишь им одним.

Высокий худой старик останавливался, то и дело обращая взор в беспредельное пространство, пытаясь разглядеть там, найти нечто известное ему одному. Не видел и хмурился на миг, продолжая затем, словно в забытьи, свой размеренный путь. Недоверие, вспыхивающее на его лице, время от времени стиралось, сменяясь надеждой.

Молодая женщина шла, беспрерывно озираясь и суетливо поправляя то волосы, то складки одежды. Жесты были столь красноречивы, что вызвали у них обоих улыбку.

На подъёме было достаточно и тех, кто почти бежал, задыхаясь и падая, ускоряя и ускоряя шаг. Вверх, вверх! Быстрее других, привычно и ловко преодолевая крутые извивы дороги! Глядя на этих суетливых чудаков, наблюдатели опять слегка улыбнулись, переглянулись и покачали головами. Не в осуждение, нет, привычная ирония – путники есть путники. И все же… ах, уж эта их извечная слепота, ошеломляющая неспособность проникать в суть, оценивать себя среди событий, явлений, жанров бытия, реализующихся в спиралях Вселенной…

А, впрочем, чего ожидать от путников? Хотя случались раз-два в столетие и исключения. Вот взять хотя бы этого внимательно и не суетливо что-то ищущего у пробитой заступами обочины. Неужто тот, кому доступно осознание бытия? Давно не являлись…

Ближе к ночи путники всё прибывали, нескончаемый поток сливался из мелких ручейков, снова ветвился, растекаясь обширной дельтой и скрываясь затем за холмом. Их вереница в сумерках казалась более однородной, змеиная шкурка исчезла, хотя несовместимая дробность внутри потока сохранялась. Путники шли, не смешиваясь, не замечая друг друга.

В толпе, идущей наверх, всякий одинок, как нигде. Одно и то же и в том мире, и в этом.

– Ты решил поменять правила? Я не против, если они не во вред порядку. Нет? Что ж, пусть отныне будет так. Хлопот как будто не больше… Однако не возьму в толк, зачем тебе всё это? – нарушил молчание один из двоих наблюдателей.

– Посмотри на идущих, и ты всё поймёшь. Толпа пестра и разобщена, но каждый по сути – слепок другого. Детали не имеют значения. Они лишь меняют облик.

– Да, пожалуй, ты прав. Так вот от чего у меня вечный сплин? Они все до скуки похожи друг на друга. И на нас с тобой! – ироничный взгляд в сторону собеседника, сменившийся раскатистым смехом.

– Зачем ты так жесток? – старое недоверие скользнуло меж ними.

– Не будь смешным, приписывая мне человеческое, – гримаса исказила выразительное лицо, – Тебя самого они считают, падая ниц, добрым и всемогущим. Оставим это им, – он кив-

нул в сторону вереницы на склоне. – Мы оба знаем, что ты, как, впрочем, и я, не обладаешь ни одним из приписываемых нам качеств. Да и в легковесных ли оценках людей – жалких путников на вечном пути из мира сует в мир покоя – таится предназначенное тебе и мне порядком? Я лишь хотел узнать, в чём твой критерий, согласно которому ты, наблюдатель, отвечающий за добро, распахнул перед ними врата покоя?

– Критерий, как и прежде, страдание. Все они много страдали. Любой путник, отхлебнув от чаши познания, уже тем самым был наказан. Хотя бы однажды, – замолчал на миг, и, немного помрачнев, добавил: – И каждый хотя бы однажды, переходя из мира сует сюда, в наш не бренный мир, заслужил покой.

– Ну, ты опять смешон! Да, каждый отхлебнул от чаши, но только единицы поняли, что пригубили от познания, которое разлилось по жилам, заполнило каждую клеточку мозга… Только единицы поняли, что им даровано, и попытались сохранить, упрочить, использовать во благо… Но масса?! И каждому из зёрен этого бессмысленного месива ты решил даровать покой? А ты не боишься, что, упразднив наказание, тем самым лишил их страха. Теперь они не будут бояться того, что когда-то сами же нарекли грехом.

– Грех? «Не погрешишь – не покаешься», как наивно, – улыбнулся тот, кто отвечал за добро. – Ну, вот видишь, значит, познание приоткрывало им свои бездны, из которых они, пусть неумело, пытались зачерпнуть… Да, несомненно, они неутомимы и в изобретении правил и в их разрушении, – развёл руками, – путники, что с них взять? Ни одного из них страх не остановил на пути падения. Не знаю путника, который бы не преступил черту, хотя бы в мыслях!

– Намерение не есть деяние! Славное оправдание! Просто случай им не подвернулся, а то бы не в мыслях преступили, ох, как бы преступили! Хочешь вступить в конфликт с порядком? – шутил тот из собеседников, который отвечал за зло.

– Ты же знаешь, я не конфликтен… Скорее сам переосмыслил мир, а главное, наше место в нём… Место путников и наше с тобой. Моё переосмысление не повод к ссоре.

Замолчали, спокойно наблюдая за бредущими к вершине.

– Взгляни, как она прелестна! Как восхитительно порочна! – нарушил вновь молчание наблюдатель, отвечающий за зло, кивнув в сторону рыжеволосой бестии, легко и беспечно перепрыгивающей с камня на камень. – Согласись, ей самое место в моих покоях, а ты обрекаешь её на вечный покой. Где твой хвалёный критерий? Отдай её мне! Не скупись!

– Она сирота. Ей выпало много страданий. Вот и критерий.

– Так не отдашь? Жаль, – он равнодушно перевёл взгляд туда, где из-за обрушившейся много веков назад стены проступал приближающийся грузный силуэт. – Ага, как славно! Вот и очередное чудовище! И ему уготован покой? Видно, мало он упокоил своих соплеменников? Или пытки его были не столь изобретательны? А может, путники той половины континента, где он творил свои изощрённые бесчинства, недостаточно страдали? И, несмотря на то, что он «людоед», ты раскрываешь перед ним врата покоя? – наблюдатель, отвечающий за зло, рассмеялся.

– Ты несносен! Тебе ли не знать, как много он сам страдал на своём пути! В страдании корни его пороков…

– Он – бессовестный циник, казнокрад и убийца! Однако, по твоей логике, страдание превыше преступления?

– Таковы правила порядка, они не мои, – пожал плечами наблюдатель, отвечающий за добро.

– Мне кажется, ты слишком вольно трактуешь порядок! Поклонение путников тебя испортило! Своим упрямством ты утомил меня. Я чувствую, наше непонимание приведёт нас к новой ссоре. Я бы не хотел… – устало ответил наблюдатель, отвечающий за зло.

– Не хотел, и не надо, – мягко прервал его собеседник, прикоснувшись к изысканно тонкой руке своего оппонента. – Не забывай о главном – о нашем предназначении, предписанном порядком. Ты – это я, а я – это ты! Нет левого без правого, востока без запада, мудрости без глупости, зла без добра. В этом основа всего сущего! В этом единстве механизм движения! Глубинный смысл, диктуемый порядком! Страдание превыше всего! Страдание – это наказание там, в гуще людской, и покой здесь, когда они являются к нам путниками. Покой для всех, кто пережил страдание…

– Ну нет, уволь! – скептически заметил его собеседник. – Как любят повторять путники «всем сёстрам по серьгам»… Придётся опять прервать наш диалог на несколько столетий! – встал, тряхнув копной волос, рассыпавшиеся небрежно пряди покрыли породистый лоб.

– Не горячись, не уподобляйся путникам, – наблюдатель, отвечающий за добро, вновь примиряюще протянул руку к своему собеседнику. – Тебя тоже испортили их поклонение и страх. Вспомни о нашей вечной миссии. Останься. Мне всегда так одиноко без тебя. Наш диалог ещё далёк от завершения.

– Пожалуй, ты прав, гнев – удел тех, кто познал страдание, удел путников. Уговорил, останусь, – наблюдатель, отвечающий за зло, вновь улыбался, поудобнее устраиваясь среди живописных развалин, – «суета сует и всё суета». Сами изобрели эту формулу и тут же о ней забыли. Как мелки и ничтожны их заботы перед этим вечным путём, – он кивнул в сторону всё разрастающегося к ночи потока путников.

– Скоро ли отправляешься в свой обычный вояж? Кого выбрал для опеки на этот раз? Кого-то из великих? Интересно, кто нынче привлёк твоё внимание? А ещё интереснее знать, принесёт ли твоя опека желаемые плоды? – голос наблюдателя, отвечающего за добро, прозвучал примиряюще.

– Пока не знаю. Выбор не велик среди великих, но весьма разнообразен и красочен среди малых рода человеческого. Есть занятные экземпляры и не менее занятные сюжеты, которые они там у себя затевают. Любопытно взглянуть. Не смотри с осуждением. Мне не пристало вмешиваться, нет, только взглянуть, только еще раз насладиться театром абсурда, вечным спектаклем, который они так одержимо продолжают разыгрывать уже не одно тысячелетие. И, заметь, верят в него, и как истово верят, как настойчиво крушат судьбы друг друга на выдуманных подмостках…

– Любуюсь сумбуром и беспечными бесчинствами, порождёнными тобой же, гений зла. Сумеешь ли не поддаться искушению и никого из них не станешь подталкивать к греху? Не верю, что ты способен оставаться в стороне! Не будешь соблазнять, не станешь обольщать «невинными» посулами? Не верю! Ты не властен поменять свою природу!

– О, друг мой, ну, уж ты совсем несносен и, к удивлению, непоследователен! Смею напомнить, весь их сумбур – плод нашего совместного труда: нет чёрного без белого. Подталкивать к греху?! Ты, верно, иронизируешь по обыкновению. Тебе ли не знать, что они давно превзошли меня в умении созидать и множить зло? Мне впору учиться у них. Кстати, вот так мысль! Не могу сказать, что они превзошли тебя в умении созидать добро! Ха-ха! Вот парадокс! Над ним стоит поразмыслить на досуге. Нет, не сейчас, – остановил он собеседника жестом. – Устал. Не хочу дискуссий. Способен ныне только на созерцание и наслаждение. Должен признаться тебе, от их интриг и пролитой крови даже меня порой тошнит. Представляю, каково тебе!

– Меняешься? Занятно… И верный тому признак – стремление примириться со мной. Я рад.

От наблюдателя, отвечающего за добро, исходили искренность и спокойствие. Замолчали в раздумье. Толпа путников заметно поредела к рассвету, продолжая ровным потоком вливаться в распахнутые врата покоя за покатым краем холма.

– Взгляни туда, – указал один из наблюдателей в сторону молодого, красивого, полного сил путника, всматривавшегося в каждый камень, в каждую складочку рельефа. По его сосре-

доточенному виду было ясно, что он не намерен переступить отчётливо обозначенную черту у врат покоя. – Что он пытается отыскать?

– А, этот бедолага? Он вдоволь отхлебнул от чаши, впитал и приумножил знание. Он обрёл кристалл единения, а сейчас, верно, ищет камень ожидания близких.

– Вот уж не думал, что ты сохранишь этот обычай. Представляешь, как путники будут толпиться здесь.

– Опять ирония? Такого не случится. Ждать тяжело и дано редким счастливцам. Путники, едва шагнув за черту, забывают всех, кто остался за их спиной. Обретших кристалл и совпавших душами там так мало, что я уже давненько что-то никого не видел на этом камне.

– Пожалуй, ты прав, – сказал в раздумье наблюдатель, отвечающий за зло. – Камень так зарос, что его трудно отыскать, но этому путнику, смотри, удалось. Пусть сидит. Знаешь, он даже оживил пейзаж. Уже не так уныло. И какие светлые мысли…

– Оставь! Не стоит читать мысли путников без особой надобности, – поморщился тот из наблюдателей, кто отвечал за добро. – Я гуманен, а жизнь всех путников конечна. Пусть ждёт. Когда-нибудь дождётся…

Солнце залило ярким светом долину, и оба наблюдателя, сбросив плащи и продолжая свой ни к чему не обязывающий вечный диалог, направились к дому за дальним холмом, не оглядываясь на путников, бредущих за их спинами. Наблюдатели путникам в сущности совсем не нужны. Порядок никому не позволит свернуть с начертанной для каждого из них тропы.

Маша

Пусть зимней стужей будет этот час,
Чтобы весна теплей пригрела нас!
В. Шекспир[1], сонет 56

Маша сидела неподвижно. Унылая лекция плыла где-то мимо её отрешённого сознания сквозь душное пространство аудитории, поверх голов скучающих сокурсников, обтекая дробный шорох сплетен Нэлки с Иркой за её спиной, и окончательно скатывалась с бритого затылка Витьки Прудникова – воинствующего придурка, свихнувшегося на националистическом навозе.

Полоска солнца, подрагивая, протиснулась за небрежный краешек жалюзи и окутала её лицо и плечи прозрачной пеленой, смешавшись с запахами уже начавшей подтаивать зимы, сочащимися из приоткрытой фрамуги окна. Ни слушать, ни думать уже не хотелось, а липкотягуче хотелось раствориться в этих, пусть пока ещё не прогретых лучах и плыть, плыть…

– Мария, я к вам обращаюсь! Савельева, может быть, соизволите ответить?

Маша вздрогнула и нехотя вынырнула из блаженного забытья. Толкунов обнаружился стоящим к ней почти вплотную. Он постукивал по краю стола костяшками неестественно длинных, чуть кривоватых пальцев и дырявил её жёстким сверлом колючих глазок. Маша потянулась взглядом вдоль обвислого свитера Сан Саныча, мягко обогнула подбородок и в очередной раз, подавляя внутреннее отвращение, встретилась с этим его обморочным взглядом, приютившимся над костлявыми скулами жёлчного лица, наивно и трогательно улыбнулась, изобразив при этом преданность, внимательность и бесконечную заинтересованность. Возможно, была не очень убедительна в этом искусственном порыве, если учесть, что где-то там, в подреберье, отвратительно копошилась совершенно противоположная гамма чувств. Но… Попытка не пытка, хотя, как знать, всё зависит от обстоятельств.

– Ну, и что же это мы себе опять позволяем? Не интересно? Я же вас, милочка, уже просил, умолял даже, не приносить на мои лекции ваше мечтательное лицо. Забыли? Просил оставлять его дома маме, друзьям, любовникам, наконец, на временное попечение! А вы опять за своё. Может быть, вам не только лекции мои, но и сам я не интересен? Ну, что вы на меня так слащаво-преданно уставились? Не интересен?

– Нет, не интересен, – совершенно неожиданно для себя тихо согласилась Маша, мгновенно стерев с лица слащаво-подобострастное выражение, но тут же спохватилась: – Я пошутила, простите… Глупая шутка…

Поздно. Сан Саныч уже пошёл багровыми пятнами. В аудитории воцарилась тишина, такая именно, после которой обычно, громыхая трубами и валторнами, мощно вступает крещендо. Буря! Сокурсники заинтересованно встрепенулись и улыбчиво оценивали разворачивающуюся сцену. Однако, болей за Масю, не болей, теперь уже даже последнему придурку ясно, что надвигающееся цунами сессии смоет очаровательную Маську безжалостно и, похоже, на этот раз окончательно. Самовлюблённый комплексун Толкунов обид не прощает. «Не интересен!» Ну, ты даёшь, Савельева! До гробовой доски ты ему, Маська, враг, и добивать он тебя будет всем доступным ему иезуитским арсеналом. Тут сомневаться не приходится, уже не первый год легенды о его мнительности и мстительности передаются студентами из уст в уста. Влипла ты, Маська! Хорошая ты девка, но влипла по-крупному. Мысль эта тревожной птицей металась из одного конца неожиданно сбросившей дрёму аудитории в другой и опустилась у

[1] Перевод С. Я. Маршак.

двери, чтобы тотчас выпорхнуть в коридор из-под ног первого, кто эту дверь по окончании лекции откроет.

В столовой увязавшиеся за ней неразлучные Нэлка с Иркой – надо же поддержать подругу в трудную минуту – всё допытывались, с чего это она так осмелела, что брякнула своё «не интересен» этому прожжённому брюзге и зануде.

– Потому и брякнула, что зануда, – нехотя отвечала она и вдруг разозлилась на ровном месте. – Можно подумать, он вам интересен, интеллектуалки вы мои раздумчивые.

Было ясно, обеим сплетницам обломилось. И, удовлетворившись парой творожных ватрушек, подруги заспешили, сославшись на вдруг возникшие неотложные дела. Пакет моральной гуманитарной помощи сокурсников на этом, как показалось Маше, иссяк. Однако не тут-то было. Не успела она вздохнуть облегчённо, одновременно на оба освободившихся места (так ей показалось) жирным мешком шмякнулся Витька Прудников.

– Мась, ты чего? У тебя крыша в полёте? – развалившись, как сначала показалось Маше, сразу на двух стульях (нет, все-таки на одном) и мерно покачиваясь на задних ножках, насколько ему позволяло жирное, рыхлое тело, вещал Прудников. – Тебе чего, учиться надоело? Маська, ты просто дура! Ну, чистая дура! Осталось-то два раза чихнуть и один раз пёрнуть, и всё, Маська, всё – последняя сессия! Послед-ня-я, Мась! Диплом – и айда на свободу!

– Какая я тебе Маська? – отрезала она резко. – Меня зовут Маша, а эксклюзивно для тебя Мари-я! Понял? Мария! «Аве Мария» слышал когда-нибудь? Вряд ли. Но всё равно Маськой меня больше называть не смей!

Она собралась уходить, но Прудников примирительно взял её за руку:

– Слушай, старуха, а Мария – это красиво! Русское такое имя, настоящее, не какая-нибудь тебе хевра еврейская типа «Сара – Шмара». Я исконно русские имена уважаю! У Иисуса Христа, между прочим, мамашу так же звали. Мария Магдалина! Красиво? Ещё бы! И, главное, по-русски, по-человечески.

Маша опешила и несколько секунд раздумывала, стоит ли ввязываться в дискуссию с этим малограмотным недоумком, но не выдержала:

– «Мамаша» Иисуса, как ты изволил выразиться, она же Дева Мария, и Мария Магдалина – это две разные женщины! Разные, придурок! И обе, между прочим, еврейки! А ты думал, они две тысячи лет назад в Палестину из России эмигрировали?

Бритый затылок Витьки Прудникова поплыл разноцветьем, как у хамелеона на брачном пиру. Он взмыл со стула, громко брякнув его об пол, замахал руками, задыхаясь от ярости, захлёбываясь неразборчивыми словами, бросился вслед за уходящей Машей, натолкнулся на соседний стол, расплескав содержимое тарелок на пластиковые подносы, грязно выругался, побежал и настиг её уже на широкой лестнице, выводящей народ к яркому свету холла из подземелья столовой.

– Маська! Савельева! Мария! Стой! – орал он неистово. – Стой! Убью, дура! – И жарко, мерзко дыша ей в лицо, выпалил: – Ты как такое могла? Ты, дура, сволочь, змея подколодная, как посмела такое? Дева Мария? Мария Магдалина наша – еврейка? Русская она! Слышала ты, мразь, русская! Как тебе в голову такое прикатило? Как язык не отсох?! Убью!

– Да иди ты, придурок, – спокойно отстранилась Маша. – Историю надо было лучше учить, тогда бы так трепыхаться не пришлось. И обе, повторяю для глухонемых, обе-две Марии, и Иисус Христос, и предшественник его идейный Гилел, и Иоанн Креститель, и все апостолы, и основатель христианской церкви апостол Павел, который к тем двенадцати не имеет отношения (это тебе для расширения кругозора) – все были чистокровными евреями… Все до единого! Представь себе, недоумок! А русских тогда ещё и в помине не было, при всей моей к нам любви. Просто не было про нас тогда в истории ни слуху ни духу. Больше тысячи лет не было после Христа и Девы Марии. Так что заткнись!

– Сама, сука, заткнись, убью! – Он замахнулся, готовый ударить, а потом бить, бить, бить, долго, безжалостно, вколачивая в неё святую, попранную ею истину, но неожиданно остановился, сбитый с толку собственным открытием, ткнувшимся в висок. – Так ты, оказывается, за русскую себя выдаёшь, а сама подпольная еврейка! – заорал он изумлённо. – Как я раньше не видел, жидовка, настоящая жидовка! Жидовина, грязная сволочь! Бог наш русский, Иисус Христос, тебя покарает! Громом тебя в первую же грозу грохнет! – стонал Витька вслед удаляющейся Маше.

Она обернулась и с улыбкой произнесла, доконав Витьку:

– Неуч, придурок вонючий, нет русского Бога! Бог он для всех конфессий один. Вот такая незадача – и у евреев, и у христиан, и у мусульман один и тот же Бог. Один! Другого нет! Пророки и убеждения разные, а Бог один! Учись, нацбол, малограмотный!

И, совершенно беззаботно рассмеявшись, распахнула массивную дверь в сверкающую и благоухающую, уже почти весеннюю улицу. Радостное настроение вернулось и бежало за ней вприпрыжку вдоль залитой солнцем аллеи.

Вечером за ужином (на этот раз Гордеев заказал его на семнадцатом этаже новой высотки) она рассказывала, искусно, с юмором приправляя реальную солянку события специями подробностей, приходящими ей в голову по ходу повествования: «Перепутал наш глубоко верующий русофил Пресвятую Деву Марию с Марией Магдалиной! – совсем у парня мозги отшибло. Ты бы видел, как он побледнел, когда услышал, что у всех, представляешь, у всех Бог один, включая и ненавистных ему евреев с мусульманами». Ренат слушал внимательно и удивлялся не её рассказу (таких фруктов он знал немало – его тема), а тому, что впервые видел, какой разговорчивой и открытой может быть Маша.

Прозрачная от пола до потолка стена ресторана, который Ренат окрестил «Хрустальной башней», темнела, едва подсвеченная играющими огнями вечернего города далеко внизу, а они, двое, парили над ним на сказочном и по-восточному щедром ковре-самолёте. Ренат, по ироничному определению Маши, рафинированный сноб и сибарит, любил и умел удивлять своих дам. «Ну, что ж, у каждого своё право на коллекцию недостатков», – подтрунивала она над ним, и было не ясно, что она включает в слово «коллекция»: его сибаритство или его дам.

Маша легко прощала чужие слабости: «со своими бы вовремя разобраться». В сущности Ренат Гордеев не из худших, во всяком случае, интеллигентен, образован, интересен. Всё остальное не в счёт.

Замуж за него она не собиралась, впрочем, и он не приглашал, и она сама в ближайшее столетие менять свой статус не планировала. Замужество всегда маячило в некой отдалённой туманной дымке без лица и идеи, обставленное хламом необязательных декораций, которые в любой момент можно отодвинуть или вовсе убрать, или, напротив, в случае острой надобности поместить временно на первый план. Впрочем, ровно настолько, чтобы усыпить бдительность претендента, по мнению Маши, всякий раз слепого самоубийцы, потому что только незрячий может позволить себе всерьёз воспринимать её любезность как истинное желание расплатиться за чей-то безрассудный и бескорыстный порыв собственной свободой. Да и бескорыстный ли? Никогда ни одного убедительного аргумента!

Замужество? Нет, нет и нет! Маша с пяти лет знала, как и на что потратить бесценные мгновения жизни, как её устроить и обустроить, кого и насколько подпускать к себе, а кого держать и при этом удерживать на безопасном расстоянии. И никогда ни для кого ни при каких обстоятельствах не сокращать этого расстояния ближе вытянутой руки. Принцип, интуитивно сформированный в детстве, работал чётко и безотказно. Не было подруг, были приятельницы. Не было друзей, были соратники. Не было любимых, были любовники.

Ах, да, любовники! Особая статья. С ними следовало всегда соблюдать максимальную осторожность. Маша не могла позволить себе быть слабой, но должна была ею казаться. Она принимала «любовь», отвергая примитивное затасканное слово «секс». Она наслаждалась ею,

купалась, ныряя всё глубже и глубже в её упоительные воды, но, выныривая и радостно распростёршись на слегка влажных простынях, мгновенно возвращалась к себе всеми помыслами и желаниями, стараясь при этом сохранить облик хрупкого, беззащитного существа, чтобы партнёр не разгадал её трюк, её «уход» и продолжал пребывать в ощущении её окрылённой влюблённости, которая реально была адресована совсем не ему. Когда обмякшее тело, каждой клеточкой поющее гимн радости, непроизвольно начинало склонять душу к несвойственному поведению, то мгновенно включался внутри неё некий механизм, наподобие маятника раскачивающий в медленном ритме перед её взором край сигаретной пачки с красноречивой надписью: «Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью!» Это отрезвляло безотказно.

Маша, сколько себя помнила, была вообще натурой страстной, азартной, цельной. «Это я в мать пошла, – размышляла она время от времени. – Кстати, в которую из матерей? – задавала она себе не праздный вопрос, – Обе по жизни оказались страстными, азартными, цельными. Правда, каждая в своём роде. Полагаю, я лишена безрассудства, значит, кровь не сыграла. Генетика отдыхает. Ну, и славно!»

Она росла вольным ребёнком, именно так, а не своевольным, как часто принято упрекать непослушных детей. Её вольность проявлялась в ранней самостоятельности и высокой самооценке. Нашкодив, как всякий ребёнок, не выносила упрёков, не впадала ни в ложное, ни в искреннее раскаяние, гордо неся свою провинность сквозь обычное неловкое замешательство взрослых.

– Я хо-р-рошая! – с убеждённостью бросалась она к папе, грассируя «р», который только к пяти годам научилась выговаривать. – Накажи Марину!

– Ты хорошая, – гладя лежавшую на его коленях пушистую головку, говорил папа, – но понимаешь, Машенька, даже очень хорошая девочка может совершать плохие поступки. А ты их повторяешь постоянно. И потом, Марина тоже хорошая. Как же я могу её наказывать? За что?

– Хо-р-рошая?! – неизменно поражалась Маша. – Получаемся мы обе хо-р-рошие?! – и незамедлительно бросалась от папы к Марине, стоящей обычно у окна. Её натянутая пружиной спина выражала отчаяние и муку. Маша наскакивала на Марину сзади, крепко обхватывала, твердя: – Хо-р-рошие, хо-р-рошие! Мы обе хор-рошие!

Конфликт формально всегда заканчивался в Маринину пользу, хотя, невзирая на уговоры мужа, что ребёнку свойственно чаще, чем взрослым, находиться в состоянии стресса, было ясно, что очередной стресс пережила именно Марина.

Всякий раз после бурного примирения папа вёл их обеих на прогулку, или в кино, или в музей. О, какое счастье эти музеи! Там Маша хватала Марину за руку и таскала от одного понравившегося ей экспоната к другому, требуя подробнейших объяснений. Выслушивала, а потом для верности опрометью бросалась к папе за подтверждением информации. Если «показания» Марины и папы не совпадали, начинался допрос с пристрастием под стоны и вздохи очумевших родителей.

– Маша – борец за справедливость! Ей нужна полная ясность, – уговаривал Марину папа.

– Да, – соглашалась Марина, – только она справедливость своеобразно понимает. Всегда в свою пользу.

– Ей только пять. Подрастёт – переосмыслит.

– Ага, – смеялась Марина, – переосмыслит на моих весёлых похоронах! – И, прижимаясь к плечу мужа, любовалась Машей, несущейся вскачь по фойе.

* * *

– Машенька, а что, этот Витька, он у вас один такой или целая шайка? – спокойно, без нажима, спросил Ренат.

Не было в его вопросе ничего такого, что бы могло насторожить, и всё же она насторожилась, вспомнив, как в перерывах между лекциями Витька шептался о чём-то или ржал в коридоре со своими дружками – такими же, как он, придурками, навещавшими его время от времени. Все они были не с их курса. Как на подбор бритоголовые, хамоватые и агрессивные. Лишь однажды она заметила красивого серьёзного парня, что-то подробно растолковывающего Витьке, и удивилась: что могло быть общего у интеллигентного незнакомца с этим жирным, тупым бараном? Нэлка с Иркой тогда будто случайно прошли мимо и почти хором нежно пропели: «Познакомил бы нас с другом, Витенька». На что тот бесцеремонно рявкнул: «Идите себе, идите, не путайтесь тут под ногами! Нужны вы нам обе!» А когда обиженные подруги, картинно дёрнув плечиками, удалились, Маша случайно краем глаза увидела, как Витька указал подбородком в её сторону и одними губами прошептал: «Вон та». Незнакомец на несколько мгновений задержал на Маше взгляд и отвернулся, едва заметив её интерес.

– Не знаю, – сказала она неуверенно, – вроде есть у него друзья, а уж единомышленники они или шайка, или так, «погулять вышли», сказать не берусь. – Поколебалась, но рассказывать историю с незнакомцем не стала. Остановило что-то.

– Ты бы, Машута, с ним больше в перепалки не вступала и своё гипертрофированное чувство справедливости публично не демонстрировала. Все эти свихнувшиеся на национализме «витьки́» (он намеренно сделал ударение на последнем слоге) не так сейчас безопасны, как может показаться. Поверь мне. А твою проблему с Сан Санычем мы решим, не беспокойся ни о чём. Да и не проблема это вовсе. Он с детства нашего незабвенного был желчным занудой. – И на удивлённо вскинутые Машей брови улыбнулся понимающе. – Выросли мы с ним в одном дворе, правда, не дружили никогда. Да с ним, собственно, никто не дружил. Трудный человек… Плохой, но управляемый. Решим. У нас на него крепкий крючочек имеется. Очень крепкий – не сорвётся.

Маша не стала уточнять, что за грехи, способные спасти её на предстоящем экзамене, водятся за Сан Санычем. Выпитое вино, чудесный десерт и сказочный пейзаж за прозрачной стеной уносили её далеко от мелких передряг сегодняшнего дня.

– Давай-ка я тебя домой отвезу, по-моему, тебе сегодня следует отдохнуть: вид у тебя что-то не очень.

Поистине всепонимающим и чутким приятелем был адвокат Гордеев. Маша нередко даже сожалела, что дальше приятельских отношения с Ренатом не продвигались.

– Жаль, жаль, жаль… Однако ещё не вечер, – смеялась она, разбирая на ночь постель.

Марина

Я не хочу хвалить любовь мою, —
Я никому её не продаю!
В. Шекспир, сонет 21

Маша присела за компьютер, но ещё не успела на сон грядущий пробежать по диагонали последние новости, как по скайпу её начала вызванивать Марина:

– Маш, у тебя всё в порядке, что такая расстроенная? Проблемы в университете?

– Да нет, Марина, – нехотя отбивалась Маша, – в целом всё нормально, только устала немножко. Просто с одним однокурсником повздорила. Он, такой дурачок малахольный, на евреях, кавказцах, неграх и православии помешался, а сам ровным счётом ничего не знает, ну, я на него и наехала. Зря, конечно, нельзя убогих обижать, просто под горячую руку попал, а я и отыгралась. Сожалею.

Было видно, как Марина погрустнела и спросила озабоченно:

– А что за неординарные события руку разогрели?

– Да не было ничего неординарного. Всё как всегда. Не первый раз. У нас сегодня Толкунов последнюю лекцию перед сессией читал, а на улице солнце, и зайчики по потолку бегают, и предвкушение близкой весны по всем щелям сочится. Короче, я отвлеклась, а он бдит. Подошёл, спрашивает: «Не интересно?» – я честно и брякнула, что не интересно, а главное, что и он сам мне не интересен…

Марина там у себя, в парижской комнате, всплеснула руками:

– Машка, он же тебя предупреждал, что ты диплом получишь только через его труп. Мне остаётся теперь одно – прилететь и убить его, а потом сразу назад, пока не поймали. Другого выхода нет, – она вздохнула обречённо, – раз сам на труп напросился.

Маша улыбнулась и подумала: «А ведь, приключись со мной что-то серьёзное, Марина точно убьёт виновника, не дай Бог».

Мать бросила Машу, когда ей исполнилось три года. Точно, день в день, упорхнула, улетела вслед за новой любовью в неизвестные края. Спустя годы Маша не могла вспомнить своих отношений с матерью до её исчезновения. Не помнила ни ласк, ни наказаний, ни разговоров «по душам», ни подарков. Ничего не помнила, кроме её спешного исчезновения. Оно время от времени проступало в Машином сознании разорванными цветными пазлами, которые никак не собирались в картинку.

Рано утром мать чмокнула едва проснувшуюся дочку в тёплую и примятую со сна щёку, подхватила туго набитую дорожную сумку, словно не распакованную со времени их недавнего возвращения с моря, где они две недели отдыхали втроём, вместе со светившимся от счастья папой, нежась целыми днями на золотистом песке пляжа, тонкой извилистой полоской убегающего к горизонту, громко хлопнула входной дверью и застучала каблучками по гулким ступеням подъезда.

Маша удивилась отсутствию подарков, которые предвкушала с вечера, и не успела спросить, куда и надолго ли мама уезжает, подбежала к распахнутому окну и увидела, как та появилась далеко внизу, у края тротуара, забросила тяжёлую сумку на заднее сиденье стоящей у подъезда машины и, прежде чем скрыться навсегда, запрокинула своё счастливое, улыбающееся лицо навстречу Маше, приветливо помахала рукой и растворилась в горячих струях июльского утра.

Об исчезновении жены отец узнал только вечером, когда, шумно сгрузив в их просторной прихожей подарки для Маши и продукты к праздничному столу, вошёл в спальню в надежде

обнаружить там жену, вместо этого увидел на подушке аккуратно застеленной кровати сложенный вдвое белый лист оставленной для него записки.

Он долго не находил себе места. Неделями, казалось, не вспоминал о Машином существовании, потом вдруг кидался одаривать её вниманием, водить по магазинам, соблазняя покупками, потом вновь сторонился её, как чужой. Именно в те душные, мглистые от близких пожаров торфяных болот дни Маша поняла, как ей следует жить дальше, без мамы.

Маму обязательно забыть, считать, что её просто никогда не было. Это оказалось совсем не трудно. Папу надо опекать: он болен и беспомощен, а она, Маша, может всё.

Светке, которая жила в соседнем подъезде, приходила к ним рано утром убираться, готовить и приглядывать за ней до папиного возвращения, Маша приказала научить её управляться по хозяйству и варить суп. Сначала Светка решила сопротивляться, легкомысленно заявив, что, мол, мала ещё, нос, мол, её не дорос до таких великих дел, но, увидев Машину нешуточную решимость, необходимые уроки дала, правда, приходила к ним в дом по-прежнему, упросив Машу ничего не говорить отцу.

Светка ссылалась на то, что ей остро требуются деньги на жизнь и лишиться работы сейчас никак не с руки, поэтому Маша может ей при желании помогать и тренироваться на будущее, а может и своими делами заниматься – она не в обиде. Светка оказалась настоящим и решительным педагогом, умудрившись справиться с трёхлетней упрямицей и ловко уйти от неизбежного скандала.

Маша дала себе слово, что всего всегда будет добиваться сама. Пойдёт в школу и будет учиться лучше всех. Закончит институт и станет самой лучшей, самой знаменитой… Тут в её рассуждениях возникала некоторая заминка: она не знала ещё, кем она станет: – выбор был ограничен малым знанием мира. Но, собственно, спешное решение по данному вопросу ей пока не требовалось. А что касается знаменитости, то это обязательно, кем бы она ни решила стать. Она будет самой умной и справедливой, такой, что её все, все станут сильно любить и никто в целом свете не сможет без неё обходиться.

Она рисовала себе долгими вечерами, лёжа в постели и дожидаясь как всегда припоздневшегося отца, сюжеты, целые драмы, трагедии и комедии собственной будущей жизни. Ночами ей снились какие-то города и неизвестные люди, которых она то поднимала в бой и вела на подвиг, то убегала от них и пряталась в лабиринтах бесконечных незнакомых улиц, то защищала бездомных, несчастных детей, собак и даже птиц, разыскивая их заблудившихся в каменных джунглях родителей. Она отринула все детские капризы и шалости, до смерти напугав этим и без того потерянного отца.

Одним словом, в свои три с хвостиком года Маша стала взрослой.

В день своего пятилетия Маша вместе со Светкой возилась на кухне, давая советы по приготовлению праздничных блюд и пытаясь подавить нарастающее напряжение в ожидании гостей. Именно тогда впервые появилась в её жизни Марина.

Она нерешительно стояла в дверях и умоляющим взглядом смотрела на Машу, как будто просила у неё покровительства и защиты. Отец был бледен, смущён и не в меру суетлив:

– Вот, доча, познакомься, это Марина…

– Она будет у нас жить? – деловито, как и подобает хозяйке, осведомилась Маша.

– Ну да, если ты, конечно, не против, – неуверенно, но с надеждой в голосе пролепетал отец.

– Нет, я не против, – спокойно ответила она и, повернувшись к растерянной гостье, совершенно обыденным тоном спросила: – Ты хочешь быть моей мамой? – и, не дожидаясь ответа, добавила: – Нет, для мамы ты ещё молодая, я тебя лучше буду Мариной называть, согласна?

Марина, не сводя с Маши умоляющих и одновременно переполненных жалостью глаз, опустилась на пол прямо у двери и безутешно заплакала. Маша с папой, у которого тоже глаза были явно на мокром месте, её едва успокоили, проводили в ванную, где Марина долго при-

водила себя в порядок. Папа всё прижимал к себе Машу и твердил совсем, на ее взгляд, не к месту: «Спасибо тебе, доча, спасибо! Марина – Человек, поверь! Спасибо! Я рад-то как, спасибо!» Как будто Маша сама не видела и не понимала, что папина гостья – человек, а не собака дворовая. Странные эти взрослые – хуже маленьких детей!

А потом всё само собой наладилось.

Марина с радостью проводила с Машей любую свободную минуту. Она читала ей, рассказывала невероятные истории, шила яркие, сказочные карнавальные платья, и они, нарядившись обе, разыгрывали перед папой и обалдевшей Светкой феерические спектакли. Они учили английский и вместе готовили праздники для соседской детворы, мастерили подарки, стараясь угадать, что и кому понравится больше. И, наконец, однажды, когда Маша перешла во второй класс, они начали писать книгу.

Нет, это была совсем не детская книга. И это не была книга для взрослых. Это была книга о жизни, волшебная, философская, только для них двоих. Она была их секретом, их совместной мечтой, которую ни с кем нельзя не только разделить, о ней ни с кем нельзя поделиться. Они писали и шлифовали подолгу каждую фразу, каждую мысль, каждый поворот событий. Они взяли себе в соратники таких (!) героев… Таких, о которых ни при каких обстоятельствах никогда и никому нельзя было бы рассказать. Они проживали над этой книгой долгие вечера и собирались прожить над ней, тесно обнявшись, всю свою жизнь.

Их объятья по вечерам нарушал папа, плюхаясь на диван между двумя своими «любимыми девушками», сгребал обеих в охапку, и счастье так наполняло комнату, что было трудно дышать. Потом Маша находила предлог и шла в свою комнату, чтобы оставить всё это густое счастье только им двоим, и, прикрывая дверь, преисполненная воздушной радостью, видела их лучащиеся лица.

В те вечера, когда папа бывал дома, они читали. Читала обычно Марина. Она была прекрасным, артистичным декламатором, разыгрывала голосом картины так, что все персонажи с их характерами, грустью и весельем, шалостями и гадостями представали образно и зримо, а папа с Машей то и дело бурно откликались на смены сюжетов и настроений, являя идеальный пример фанатичных читателей.

Когда книжный порыв Марины иссякал, инициатива переходила к папе и начинались длинные, не на один вечер растянутые рассказы о его дальних путешествиях, о его друзьях, об их компьютерных экспериментах, которые, по словам папы, приведут ещё к невероятным результатам. Иногда его повествования были с фантастическими сюжетами о борьбе добра и зла, где, как ни странно, добро побеждало далеко не всегда.

Это обстоятельство очень огорчало Машу, которая вступала с папой в острую дискуссию, а Марина выступала арбитром. Папина печальная участь была заранее решена, но он пытался отступить с честью, очистив своей шляпой поле для Машиной победы.

Годы шли, Маша подрастала, семейная любовь и дружба проросли глубокими корнями. И тут неожиданно папа умер. Как-то обыденно, не тревожно, без угроз и симптомов. Просто прилёг вечером отдохнуть на диване с газетой и больше уже не проснулся. «Лёгкая смерть, – прокомментировала соседка тётя Зина, – о такой только и мечтать. В силе, не хворал, не стонал. Раз и всё!». Может быть и так. Только кто же мечтает о смерти в пятьдесят лет?

Маша плакала по папе безутешно и почти не спала все три дня до похорон, мысленно ласкала его похолодевшие щёки, а когда приходил короткий, просто на миг, сон, в забытьи он представал перед нею живым. Вернее, он, совсем на себя не похожий, больной и измученный, поднимался из гроба и успокаивал Машу, убеждая, что это шутка, что он не умер и всё у них хорошо.

Марина словно окаменела. Она не плакала, не заламывала рук, не билась в отчаянии об осиротевшую подушку. Была строга и сдержанна, а когда уже поднесли крышку, чтобы закрывать гроб, наклонилась к мужу и, целуя его холодный лоб, прошептала отчётливо: «Дождись

нас, путник, у врат покоя, на том большом камне. Помнишь? На том… дождись. Не уходи далеко. Жизнь конечна…Мы придём к тебе, рано или поздно. Дождись нас».

Даже если бы кто-то слышал этот шёпот, он показался бы ему бредом убитой горем вдовы, но Маша услышала и поняла. Это было из их с Мариной тайной книги. Значит, Марина разделила их тайну на троих? В другой ситуации она сочла бы это предательством, а тут простила. Пожалуй, даже с облегчением. Секрет был не от папы. Он был троих. Простила и забыла. Она быстро забывала любые обиды. Вот только обида на папин «уход без предупреждения» застряла в глубине её существа навсегда.

Оставшись без папы, они ещё теснее прижались друг к другу – не расцепить. Малопомалу утекало время, обе немного успокоились и смеялись уже почти как прежде, и книгу продолжали писать, обнявшись и вздыхая на наиболее острых поворотах. В общем как-то примирились с жизнью.

И вдруг произошло нежданное. Воскресным утром в дверь позвонили. Маша открыла, не спрашивая, думая что это, как обычно, тётя Зина с традиционными воскресными пирогами, но на пороге стояла незнакомая женщина с уставшим, поблекшим лицом. Маша почти сразу не то чтобы узнала или вспомнила, скорее догадалась интуитивно – мать.

За столом сидели втроём почти молча, ощущая всеобщую неловкость, которая усугублялась неуместными и неестественными восклицаниями нежданной гостьи, пунктиром прерывающими молчание, по поводу того, как выросла и возмужала её дочурка. («Ещё бы не возмужать за шестнадцать лет!» – внутренне злорадствовала Маша). Или о том, какая она красавица. («Ну, а как же не красавица, вся в мать мастью пошла!»).

– А я ведь к тебе, дочурка, насовсем вернулась, – с места в карьер выпалила мать и закашлялась, отхлебнув чая, – Я как узнала, что Алёша умер, так и решила – вернусь. Примешь?

Маша опешила и испугалась, увидев как смертельно побледнела Марина. Помолчала, обдумывая, и жёстко отрезала:

– Оставь нас, уйди! Ненавижу тебя!

– Маша, Машенька, – спохватилась Марина, – что ты такое говоришь, успокойся! – Прижала её к себе крепко, а потом, обернувшись, торопливо сказала: – Оставьте нас ненадолго, Екатерина Ивановна, в другой комнате подождите, я вас позову.

Посидели молча. Марина гладила Машину руку, волосы, приговаривая, чтобы она успокоилась, подумала, всё взвесила, не отказывала «заблудшей овце», испившей из чаши страдания.

– Ты уже взрослая, тебе решать. Она всё-таки твоя мама, а я тебе кто? Тётя чужая, – с нескрываемой болью говорила Марина. – И квартира эта её. Мы ведь с Алёшей за четырнадцать лет отношений так и не оформили официально. Всё собирались, собирались, да попустились как-то… Да и важно ли это теперь?

– Так, – прервала её Маша, как всегда чётко всё расставляя по местам, – она мне мать по крови, гнать не стану. Видно, так её припекло, что дальше некуда, вот и потянулась в родные края. Ты же видела это жалкое зрелище. А ты, Марина, мне мама, запомни это – мама! Никогда больше глупостей не говори. Не оформили отношений! Что мне твой штамп в паспорте? Ты мне и с ним, и без него – мама! Ты что, удумала круглой сиротой меня оставить?

Марина поплакала, крепко прижав к себе Машу, потом смыла под кухонным краном размазанную тушь, попила водичку из поданного Машей стакана и несмело предложила:

– Так, может, пусть тогда она с нами живёт? Квартира большая. Можно кабинет папин ей под спальню переоборудовать, всё равно теперь пустует, – засуетилась Марина.

– Ничего мы переоборудовать не будем! Чего ты разволновалась из-за неё так? На себя не похожа. Успокойся! Жить она будет у сестры своей, у тётки Насти. Захочет – не захочет, её дело, она ей тоже родная. Я мать гнать не стану, пусть приходит, но и в нашем доме ей места нет, – твёрдо отрезала Маша.

– Не примет её сестра, – удручённо вздохнула Марина, – она ведь тогда с Настиным мужем сбежала, окрутила парня в разгар медового месяца. И сбежала с ним. Не примет, – совершенно успокоившись и уже рассуждая здраво, без панических нот за «свою девочку», сказала Марина. – Может, нам всё же лучше оставить принципы – пусть у нас живёт. Прости ты её. Не умирать же ей под забором при родной дочери.

Маша смягчилась быстро, видимо, слишком зримой представилась в её художественном воображении картина умирающей матери под каким-то безвестным забором. Простить не простила, но зажили они вместе на удивление дружно: повзрослевшая девочка Маша с мамой Мариной и матерью Екатериной Ивановной, хотя сторонним наблюдателям было ясно: жизнь такую «душой в душу» не назовёшь. Да оно и понятно.

Через год мать, отдохнувшая от своих скитаний и похорошевшая, съехала от них к новому приятелю – овдовевшему начальнику автобазы, куда её устроила Марина диспетчером. Наведываться стала редко, а вскоре и вообще исчезла, как и не было, разве что изредка встретятся они с Машей на улице, два слова в обмен на улыбку – и разошлись.

Да и они с Мариной как-то с её переездом расслабились, повеселели и стали продумывать, куда бы им махнуть в первые Машкины университетские каникулы. А ещё через год, когда Маша уже закончила второй курс университета, Марина, долго до этого колебавшаяся и сомневавшаяся, уступая Машиному железному натиску, улетела в Париж к неожиданно объявившемуся в «Одноклассниках» другу юности. Звонила по два-три раза на день, звала к себе, тревожилась, слала деньги, и, наконец, нашёлся компромисс: встречаться в каникулы, как и прежде, в путешествиях по необъятным и диковинным земным просторам.

Тогда, в предотъездной сутолоке, когда внизу уже ждало такси в аэропорт, рассовав забытые мелочи по сумкам, они присели на дорожку, Маша спросила:

– Ты его любишь?

– Ты о папе? Такое, Маша, никогда не проходит. Мы все трое – одно целое. Жизнь здесь конечна, а там… Я верю в то, о чём мы с тобой столько лет писали в нашей книге…

– И я верю, – тихо сказала Маша. Она только сейчас осознала, что Марина с детства готовила её к возможным трагическим поворотам судьбы.

Спрашивать о Жене, к которому улетала Марина, уже не имело смысла. Она всё понимала. Но в глубине души ворочался червячок сомнения: «А как же мы будем Там? Разве после Жени можно опять втроём?»

Оставшись одна, она, вопреки тревожным ожиданиям Марины, не потерялась, а начала строить собственную жизнь согласно правилам, которые примерещились ей размыто ещё тогда, в её три года, а в день отъезда Марины Маша сформулировала их и красивым, чётким почерком записала на большом белом листе.

Эти её личные десять заповедей были точны, просты и одновременно торжественны, если не сказать высокопарны, но в тот важный момент жизни они были нужны ей именно такими:

«*Ты в ответе за свою жизнь, своё благополучие и успех.*

Тебе от рождения дан талант, и ты обязана приложить к нему труд, упорство и ещё раз труд, чтобы он пророс добрыми всходами.

Твори себя делами своими и суди себя по делам своим.

Суждения других о тебе только сигнал остановиться и оглянуться. Никогда не принимай их как руководство к действию.

Живи без агрессии, даже если тебя смертельно обидели. От зла единственный щит – улыбка, единственный меч – слово, иначе зачем тебе дан талант!

Живи с любовью в душе, и твоя судьба найдёт тебя сама.

Береги свободу! Свобода превыше всего!

Люби открыто, но помни: любовь без свободы – рабство!

Не оставляй забот о Марине. Она самая близкая тебе душа!
И в радости, и в горе всегда вспоминай папу».

Маша была вольной девочкой, она написала это и почувствовала, что колонна её жизни обрела базу, как у мраморных пропилей Акрополя, которые не разрушили ни время, ни землетрясения, ни люди. Они с Мариной когда-то оглаживали их в одном из увлекательных путешествий по Греции. Лучшей опоры не сыскать! Лист она сложила в папку из под акварельной бумаги и убрала в верхний ящик письменного стола, но больше так и не открывала. Незачем, всё само собой было живо в её голове и сердце.

Дарья

Надежды нет. Но светлый облик милый
Спасут, быть может, черные чернила!
В. Шекспир, сонет 65

Я злюсь и чертыхаюсь, уже не менее пятнадцати минут пытаясь припарковать машину поближе ко входу. Какой там поближе! Бросай хоть посреди дороги, приткнуться всё одно негде. Ну, просто негде и всё тут, хоть плачь. Всякий раз размышляю: «Вкушаемые нами плоды прогресса – это благо или наказание за грехи?» И вдруг, о чудо! Мне призывно сигналят из отъезжающего «мерса». Приоткрывается окно проплывающей мимо меня машины, и Севка, со студенческих лет закадычный дружок, с весёлой гримасой вещает, что только меня и дожидался, с раннего утра место грел. Рассыпаюсь в благодарностях, паркуюсь и опрометью устремляюсь на заседание кафедры.

Яркие зимние лучи, отражаясь от снежных шапок на подоконниках, играют на расцвеченной по углам и верхушкам шкафов паутине. Горы бумаг на обшарпанных столах коллег стали заметно пухлее – близится сессия. Словно гончая на охоте, принюхиваюсь к затхлому воздуху преподавательской. Не иначе как опять что-то стряслось?

– Давненько что-то, Дарья Сергеевна, вы нас своим присутствием не баловали, – начинает свой извечный монолог профессор Глембовский.

– Алексей Викторович, я, как часы, трижды в неделю без опозданий и прогулов с 10 до 18, минута в минуту! – отчеканиваю я нарочито, как готовая к наказанию провинившаяся школьница. – Всё в соответствии с моими половиной ставки и расписанием, с вами же, между прочим, согласованным.

– Ой, Даша, – морщится Глембовский, – я вас умоляю, оставьте вы эти свои штучки писательские для читательских конференций! У нас работа, нормальный учебный процесс, смею вам заметить. И я хочу общаться с любым сотрудником кафедры тогда, когда мне потребуется, а не тогда, когда вы соизволите мне такую возможность предоставить. И оставьте свою привычку отключать мобильник, когда вас нет на рабочем месте: мало ли о чём надо срочно справиться. А в общем это я так ворчу, настроение, знаете ли…

Далее следует длинная, беззлобная тирада о том, что он как проклятый пропадает в этих стенах целыми днями, прихватывая выходные, а мы, получая законную заработную плату, пальцем не пошевелим, чтобы помочь ему в непосильном труде заведующего кафедрой. Ну и так далее минут на…дцать. Про заработную плату это он, конечно, сильно перебрал. Если бы не вспомоществование Павла, живописание моего материального роскошества было бы весьма унылым. Просто «Завтрак аристократа» какой-то был бы на эти университетские полставки.

– Ну, так-с, – Глембовский приступает к своим чиновничьим обязанностям, – переходим к нашим насущным кафедральным проблемам. Вначале наиболее острые вопросы прошедшей недели, если таковых нет, сразу начнём с повестки дня, во главе которой предстоящая сессия, подготовка к дипломированию и важнейший вопрос о том, как и где зарабатывать дополнительные средства для родного университета грантами и хоздоговорами. Итак, есть ли острые вопросы?

– Есть, – из-за стола поднимается Сан Саныч Толкунов, в аудитории повисает напряжённая тишина, Глембовский опускает глаза и начинает заинтересованно перебирать лежащие перед ним бумаги. – Считаю необходимым вынести на заседание кафедры вопрос о недопустимом поведении студентки пятого курса Марии Савельевой.

Я вздрагиваю: «Неужели опять? Сколько же можно её терроризировать?»

– Не далее как в пятницу упомянутая студентка, в очередной раз саботируя важнейшую дисциплину («Ну да, если твоя, то всегда наиважнейшая, очнись, дорогой доцент!»), заявила мне открыто, что ей мой предмет, как, впрочем, и лично я, не интересен! Это, я полагаю, позволяет мне не допустить её к сдаче экзамена, о чём я и хотел проинформировать кафедру.

Сан Саныч отирает со лба обильный пот. Подмышки вспотели. Редкие волосы растрепались над его ущербной лысиной. Тот ещё типаж!

– Вот те раз! – вступает в дискуссию Федя Проскуряков, самый молодой и перспективный из всей университетской профессуры. – Это на каком же, простите, основании вы, Сан Саныч, в очередной раз требуете не допускать Савельеву к сессии? Интересно – не интересно к делу не относится, важно только одно: знания! Причем, согласно Уставу университета окончательное решение в конфликтной ситуации всегда принимает методический совет. Савельева – прилежная и, несомненно, очень талантливая студентка. Я прав? – Вопрос обращён непосредственно ко мне.

– Да, очень талантливая, – подтверждаю я спокойно, – в области литературного мастерства, разумеется. О других дисциплинах судить не могу.

Сан Саныч взрывается, поворачивается ко мне всем корпусом, стучит по столу костяшками пальцев (мерзкая, раздражающая окружающих привычка) и срывающимся на визг фальцетом выплёскивает мне в лицо:

– Талантливая? Это при вашем непрофессиональном попустительстве, уважаемая Дарья Сергеевна, она считает себя талантливой! Её писанина – бред. Стихи надуманные. Писаны так, чтобы никто ничего не понял, но все считали, что именно это гениально! А проза, а очерки её очернительские? Это что? Это тоже, по-вашему, талантливо? Вас, Дарья Сергеевна, с таким подходом к студентам надо давно гнать с кафедры взашей, поставив вопрос о ваших как педагогических, так и писательских способностях! Вы и как педагог, и как писатель обязаны прививать молодёжи любовь к Родине, гордость за русских людей! Ваш космополитизм в наше время неуместен, он дискредитирует исконные русские ценности! Вы ведёте себя недостойно! Вы же русский человек! – Слюна выступает у него в уголках губ. – А ваш моральный облик вообще достоин отдельного обсуждения!

В аудитории поднимается невероятный гвалт – общественность расчехлила орудия и бросилась на нашу с Савельевой защиту. Мотивация у всех разная, но результат радует.

Почему мне всегда жаль этого угрюмого, закомплексованного идиота? Сколько раз я уже вытаскивала его за уши из множества тяжелейших ситуаций, в которые он сам себя загонял? Он меня поносит, но мне его жаль. А не идиотка ли я сама?

– Ну, ну! Батенька, это вы загнули! Это недопустимый тон по отношению к коллеге, тем более по отношению ко всеми уважаемой Дарье Сергеевне, – Глембовский церемонно отвешивает мне поклон. – А вы, Дарья Сергеевна, не принимайте близко к сердцу, Саша просто сегодня не в духе, не будем ему пенять! – пытается он овладеть ситуацией.

– Да упаси бог, Алексей Викторович, – пытаюсь успокоить я разволновавшегося шефа. – Вы же знаете, я не русофобка, равно как и не русофилка, а Сан Саныч совсем не тот фрукт, который бы мне хотелось съесть. Более того, он даже не директор издательства, чтобы мне взволноваться за свои писательские способности.

– Ага, фрукт. Ещё какой фрукт. Дуриан вонючий, – тихонько ворчит за моей спиной секретарша кафедры Мила.

Теперь уже на мою защиту поднимается профессор Проскуряков. Мы много лет дружны, и оба очень дорожим этой дружбой. Федя своих в беде не бросает, а его защита дорогого стоит: как-никак в глазах многих будущий ректор.

– Я требую, чтобы Сан Саныч немедленно извинился перед Дарьей Сергеевной! – отчётливо, с нажимом объявляет он. – Кроме того, настаиваю на прекращении обсуждения высосанного из пальца «дела Маши Савельевой», как не имеющего оснований для порицания. К

сессии, несомненно, допустить и обратиться в методический совет университета с просьбой создать комиссию для приёма экзамена по конфликтному предмету. Полагаю вопрос исчерпанным. Занесите сказанное в протокол, – обращается он к Миле.

«Молодец ты, Феденька, умница, но, как говорится в народе, не на того напал», – по обыкновению иронизирую я про себя, с интересом болельщика наблюдая за развитием очередного кульбита дискуссии.

Сан Саныч, превозмогая зубную ломоту, приносит мне извинения, но при этом просит ещё несколько минут на дополнения по сути поднятого им вопроса. Глембовский неохотно соглашается. Он вообще избегает любых конфликтных ситуаций, что вполне понятно и оправданно накануне грядущей снежной лавины семидесятилетия, готовой смести его с удобного насеста.

– Мария Савельева опять же не далее как в пятницу, – снова начинает скрипеть мельничный жёрнов Толкунова, – покинув аудиторию, в которой оскорбила лично меня, одним этим оскорблением не ограничилась, а в столовой напала на ни в чём не повинного сокурсника, авторитетного студента-общественника Виктора Прудникова! Я лично был свидетелем того, как Савельева оскорбляла Прудникова и даже пыталась ударить.

Это хрупкая Машка пыталась ударить медведя Прудникова? Да его жирную тушу осиновым колом не пробить!

– Она публично обвиняла Прудникова в расизме и национализме и бросала иные унизительные оскорбления, которые я не решаюсь произнести вслух!

«Ах ты, скромник наш, не решается он произнести. И ай да Масяня, как зовут её сокурсники! Молодец! Поставила на место придурка, каковым и является в действительности откровенный нацбол, невежа и невежда, а также безупречный общественник Виктор Прудников», – иронизирую я по-прежнему, про себя, хотя уже, кажется, пришло время открывать забрало. Оказываюсь опять не права – время безнадёжно упущено.

На кафедре снова поднимается невообразимый гвалт. Теперь уже одни орут в защиту Савельевой, другие поднимают на щит Прудникова и его славное дело очищения столицы нашей Родины от гастарбайтеров, от которых уже жизни никому нет.

– Вот, приехали! Жизни вам нет от гастарбайтеров! А где ваша хвалёная толерантность? Я уже не говорю о том, кто помойки ваши разгребать будет? Посмотрим, как вы запричитаете, когда начнёте продираться через мусорные кучи на улицах. Что, не видели по телевизору, как это недавно было в Неаполе? – пытается привести к порядку коллег Глембовский.

Я беру внутренний тайм-аут и в очередной раз борюсь с непреодолимым желанием покинуть навсегда этот гадюшник. Что меня здесь держит? А ведь держит же что-то, коль скоро в очередной раз спокойно наблюдаю подобную свару. Дурища, одним словом, раз держит!

– Что касается конфликта Савельева-Прудников, то без них этот вопрос мы обсуждать не имеем права, – повысив голос, пытается успокоить разбушевавшуюся кафедру будущий ректор Федя Проскуряков. – Их приглашали? Нет? Тогда вопрос закрыт. Более того, на так называемого безупречного общественника, а по совместительству известного скинхеда Виктора Прудникова заведено уголовное дело по статье «Разжигание национальной розни», это пока наиболее мягкая формулировка. А вообще должен вам сообщить, что он подозревается в нападении на гражданина Нигерии, который на прошлой неделе скончался в Склифе от нанесённых тяжких телесных повреждений и травм, не совместимых с жизнью, а также ещё в нескольких трагических эпизодах, – закончил свою речь во внезапно воцарившейся тишине профессор Проскуряков.

Затянувшуюся, почти обморочную паузу прервал приглушённый звук мобильника в кармане Сан Саныча. Он, увидев на дисплее фамилию звонившего, заметно посерел, извинился и попросил разрешения выйти. Вернулся через несколько минут в совсем уже притихшую ком-

нату весь покрытый багровыми пятнами и буквально с порога громко продекламировал невероятное:

– Уважаемые коллеги, прошу считать мои обвинения в адрес Марии Савельевой недействительными, готов извиниться перед ней и принять у неё экзамен с надлежащей степенью объективности. При конфликте её с Прудниковым не присутствовал, а обвинения высказал с его слов. Одновременно приношу извинения Дарье Сергеевне за ненадлежащий в отношении неё тон беседы и нанесённые мной оскорбления.

Свою тираду Сан Саныч выдохнул за один присест. Казалось, он вот-вот задохнётся и упадёт в обморок.

Воцарилась гробовая тишина. Все сотрудники кафедры развернулись к Толкунову и замерли. Его краткая речь выглядела так, словно в утробе Сан Саныча самопроизвольно включилось спрятанное там электронное устройство, помогающее ему выстроить спич в надлежащем порядке. Смысл сказанного был невероятен ни в свете ещё не успевших остыть дебатов, ни в свете его устоявшейся репутации.

Во время этой, явно скопированной с чужого голоса, пламенной речи мой взгляд невзначай упал на конвульсивно дёргающуюся руку Толкунова, в которой он сжимал включённый и расположившийся у его субтильного плеча мобильник.

«Это кто же тебя до такой степени разволновал, бедолага, что ты о мобильнике забыл? Или выключать не велели? А денежки-то капают! Прижимистый ты наш! Да и чёрт с ними, с твоими денежками, главное – на сегодня в сухом остатке сумбурного заседания кафедры можно констатировать: на свете есть место подвигу и чудеса случаются! Доказано публично, пусть и без шикарного мордобоя на три персоны! Это надо же? – «С надлежащей степенью объективности»! С ума сойти»! Я наслаждаюсь сценой, откинувшись на спинку своего обшарпанного кресла.

Я подставляю лицо мягким струям света, а с потолка мне смеются солнечные зайчики. Скоро весна! Месяц, и она будет тут как тут!

– Так-с, – обескураженно произносит Глембовский. – Я рад, что инцидент исчерпан… Теперь приступим к более серьёзным делам, к утверждению тем и руководителей дипломных работ. Обсуждение потенциального зарабатывания денег для университета перенесём на следующее заседание. Начнём с самых перспективных дипломников. Мария Савельева, полагаю, она Ваша, Дарья Сергеевна?

– Моя, конечно, моя. Я ведь и хожу-то сюда три раза в неделю исключительно ради таких «савельевых». Моя… Запишите тему.

Ренат

Тогда любовь я покажу свою,
А до поры во тьме её таю.
В. Шекспир, сонет 26

Ренат приоткрыл створку окна и впустил плотную струю свежего воздуха, отдающую морозцем последних зимних холодов. Одновременно в комнату хлынула лавина разнообразных шумов и запахов города. Он любил эти первые февральские дни, предвещающие вплотную подступившее перепутье сезонов. Нынче зима неожиданно засуетилась, забежала вперёд отведённого ей времени, выслуживаясь перед весной, а та расцветила огромными стеклянными сосульками крыши и водосточные трубы, беззастенчиво раньше времени вступила в свои полномочия. На противоположной стороне улицы рабочие, мимоходом поругиваясь, ничуть не сожалея, срезали эту недолговечную красоту. Самые большие и яркие сосульки на мгновение зависали в воздухе и, описав в плавном падении два-три пируэта, рассыпались солнечными брызгами на гостеприимно встречающем их тротуаре.

Ему вспомнился двор в одном из арбатских переулков, где прошло его шумное детство. Каждую весну дворник дядя Петя платил соседским подросткам по трёшке на брата и они всей ватагой взлетали на крышу сбивать длинными крюками эти сверкающие чудеса, спасая головы случайных прохожих от неожиданных полётов крупных сосулек.

Этот московский двор, да и весь переулок были заселены пёстрым, весёлым, разноликим людом, посланцы которого – детвора всех возрастов – зимой и летом оккупировали все более или менее укромные места для своих нескончаемых хитроумных затей. Непременные в таком сообществе раздоры и драки никогда не нарушали атмосферы дворового единения. Здесь зарождались «дружбы на всю жизнь», любови «до гробовой доски», тайная ненависть, которая год-два спустя могла так же спокойно перерасти в свою противоположность, впрочем, как и наоборот.

Была в том сообществе и клановая этика: никогда не давать в обиду своих, не выносить сор из избы, опекать тех, кто помладше и послабее, прислушиваться к тем, кто постарше. Прислушиваться, но не выслуживаться. Этого не терпели. Не принимали в свой дворовый клан лгунов, льстецов, подхалимов, задавал-выпендрюжников. Славное было время. Светлое и славное. Переполненное радостью открытий, встреч, книг, пересказов и пересудов, радостью всего, что случается в первый раз и навсегда и уже не может повториться.

О том, что можно кого-то не принять, невзлюбить, возненавидеть только за то, что он не русский, а еврей, татарин, узбек, грузин, Ренат осознал уже будучи студентом юрфака, когда во время одного из лекционных «окон» в самом начале первого семестра к нему подошли два ещё мало ему знакомых сокурсника и, заинтересованно оглядывая, с нескрываемой насмешкой спросили:

– А ты, Ренатка, татарва, правда?

Ренат вначале даже не понял вопроса. Да и зачем такое понимать? Его русские родители постоянно смеялись: «На Руси за века всё так перемешалось, что и не знаешь, где чья собачка наследила!» Имя Ренат ему дал папа в память о своём погибшем друге-альпинисте, замёрзшем под накрывшей лавиной при восхождении на Эверест, за полгода до того, как Ренат появился на свет. Папин друг был татарином, стало быть, и имя ему досталось соответствующее, о чём сам Ренат никогда не задумывался. Имя ему нравилось. Да и вообще в его детском окружении национальный вопрос никогда не вставал ребром. Ну, почти никогда.

Тем летом, когда он перешёл в седьмой и очень гордился своим наконец-то (!) повзрослением, у них во дворе появился пацан, его ровесник, Мишка Розенфельд. Застенчивый, тще-

душный, всегда со скрипочкой и большой чёрной нотной папкой. Его первое появление во дворе ребята встретили не то чтобы недобро, а как-то с недоверием, не нашего, мол, поля ягода. Васьки, как звали во дворе двух закадычных друганов-разбойников, дразнили его за тщедушность «жидомором» и время от времени втыкали мимоходом подзатыльники.

Ренат вначале не вмешивался: раз пацан, значит, должен уметь за себя постоять, но, когда спустя месяц мама принесла от новых соседей пригласительный билет, а потом повела его, торжественно принаряженного, в музыкальную школу на концерт и он впервые услышал игру стоящего на сцене в лучах рампы Мишки, который в тот момент совсем не выглядел жалким и тщедушным, а, напротив, был красив, как маленький бог на рождественских открытках, Ренат понял: Мишкино предназначение на этой земле играть, а его, Рената, рыцарский долг – всегда Мишку защищать!

Скрипка пела изменчивыми переливами нежного голоса, а Мишка каждой чёрточкой своего лица сопереживал ей, и они были в эти мгновения единым и неразделимым существом. И он завидовал им обоим: Мишке с его бесподобным умением завораживать скрипку, и ей, скрипке, что так чудно пела в Мишкиных руках. Мишка был настоящим музыкантом.

Назавтра русский Ренат с татарским именем погибшего альпиниста взял еврея Мишку под своё покровительство и так рассказал на вечерних посиделках о концерте, что все пацаны, включая Васьков, лопались от зависти. Мишку зауважали и даже просили сыграть что-нибудь, после чего он окончательно стал во дворе своим.

«Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» – вспомнил он мелодию родительской пластинки, взяв со стола фотографию в изящном паспарту, где они стоят впятером, «ребята с нашего двора» (Мишка в центре), в аэропорту в день его окончательного отлёта из России. Как ты там, в своём Бостоне, друг мой закадычный Мишка? Скучаю я по тебе. Подожди, вот разгребу это дерьмо и махнём с тобой в Майами на месячишко.

Может, и Машу уговорю поехать… А может и нет… Непростая она девочка, Маша. Пожалуй, даже слишком непростая. Своих денег у неё на такую поездку скорее всего нет, а мои не возьмёт. Как тут, Мишка, прикажешь быть Ренату Гордееву – богатому русскому адвокату с татарским именем? Улыбаешься, еврейская рожа, знаменитость заокеанская? Ну, погоди, приеду, разберусь с тобой!

– К вам, Ренат Васильевич, уже подошёл посетитель, которого вы ждали, – прервала его общение с другом Нэля Дмитриевна, заглянув в слегка приоткрытую дверь. Ренат молча кивнул.

Саня Толкунов вошёл не спеша, пытаясь изобразить подобие дружелюбной улыбки на своём сухом, желчном лице. Руку для пожатия тянуть не стал, зная щепетильность хозяина кабинета. Старался держаться с подобающим доценту достоинством.

– Ты поговорить со мной хотел? Полагаю, даже допросить, я верно понял? Вот он я, собственной персоной, к твоим услугам.

– Входи, устраивайся поудобнее. Беседа может оказаться не краткой. Беседа, Сашок, не допрос. С какой стати? – Ренат пытался найти верный тон разговора с этим склизким мозгляком. Он не то что не любил Толкунова, он его на дух не выносил и сейчас всеми силами боролся со своим внутренним отвращением.

То, что Толкунов по уши увяз в дерьме, попав в качестве фигуранта его адвокатского расследования, для Рената не было неожиданностью. Саня всегда был жадным, мелочным, злобным и, что называется, не семи пядей во лбу, как, впрочем, и его склочная мамаша, любимой поговоркой которой в любой ситуации было: «Кабы жиды Россию не продали, а русские не пропили, жили бы мы сейчас как люди!»

Когда в их дворе начиналась любая свара, все знали: ищи Склочную Таньку. То соседка не так бельё повесила, то пятилетняя девчонка из ненавистной шестой квартиры неслась по лестнице «как угорелая» и свернула её таз с бельём, «ну, буквально на секундочку оставлен-

ный», разумеется, посреди общественной лестницы, то пацаны специально (!) натравили случайно забежавшего в их двор кобеля на её «совершенно беззащитное домашнее животное» – пакостного и вороватого кота Матвея…

Склочная Танька терроризировала весь двор, и двор платил ей и её злобному («весь в мамашу») сынку перманентным бойкотом. Однако дети отходчивее взрослых. И в минуты перемирия Саньку принимали в общие игры. Перемирие, как правило, длилось недолго, ровно до очередной толкуновской пакости: насплетничать, оболгать, соврать, предать – хлебом не корми.

– Знаешь, Санёк, я с тобой хочу поговорить, что называется, без протокола, учитывая наше общее незабвенное детство. Расскажи мне, как старому приятелю, честно, всё как на духу, как ты, образованный, неглупый, начитанный человек, так грязно вляпался? Целиком отмазать я тебя от этого дёгтя не смогу, но в чём-то помочь наверняка сумею. Поэтому давай, проясняй. В твоих интересах.

Сан Саныч напрягся, желваки заходили за пергаментной кожей, на которой проступили багровые пятна, как случалось с ним обычно в моменты сильных эмоциональных выбросов.

– Ты что, Гордей, за полного идиота меня держишь? Я между прочим кандидат филологических наук, уважаемый доцент престижного вуза! – голос его срывался на фальцет. – Считаешь, я не понимаю, чего ты от меня хочешь? Сначала твои же гэбэшные дружки не без твоей, думаю, помощи, нас приманили, как последних лохов, а теперь сдать хотите, чтобы чистенькими остаться? Это я всех вас сдам! Всех твоих дружков гэбэшных со всеми их задушевными беседами! Никого на суде не пожалею! Всех до одного сдам! Разумеется, если до суда дело дойдёт. Думаю, что не дойдёт.

Толкунов закашлялся и вытер платком влажное лицо.

– Там, – он выразительно ткнул костлявым пальцем в потолок, – люди и покрепче, и покруче тебя сидят. Они, между прочим, настоящие патриоты и понимают, кого надо судить, а кому медаль на грудь. Тебе, Ренатик, медаль только деревянная положена за антипатриотичное поведение, за то, что жидо-масонский заговор против русского народа тебя не смущает, за то, что заигрываешь со всякой швалью, которая спит и видит русский народ споить, растоптать и погубить. Ты, скажи мне честно, хоть раз остановил кого-то, кто нашу великую (!) страну хает? Можешь не отвечать, я ответ и без демагогии твоей либеральной знаю: ты в таких спорах или молчал, или поддакивал! Что, я не прав, интернационалист хренов? Ты что, Гордеев, слепой, или богатые жиды и мразь кавказская тебе хорошие бабки платят, чтобы ты на Россию наплевал и с ухмылочкой наблюдал, как они русский народ спаивают, развращают и лишают бесценного генофонда? Как насилуют наших женщин, чтобы плодилась и размножалась черножопая мразь? – Губы Толкунова стали влажными, глаза почти безумными. – Под суд хочешь нас отдать, на поругание этим выродкам, которых ты защищаешь? Адвокат продажный! За деньги мать родную продашь! – Лицо его скривилось болезненно. – Мы делаем чёрную, неблагодарную работу, за которую через сто лет нам Россия скажет спасибо, а сбережённый нами русский народ в ноги поклонится. Мы санитары! А твою могилу мы сровняем с землёй, чтобы не смердела! – расходясь и брызжа слюной, почти орал Сан Саныч. – Вы, интеллигенты вшивые, все под дудку Обамы и госдепа пляшете! Вот и катитесь отсюда в свои Америки-Европы! Не позволим мы вам жрать за счёт России и гадить на неё с верхней полки!

Ренат с отвращением наблюдал за бесноватым доцентом, понимая, что напрасно вызвался с ним поговорить: «Да, не Киссинджер я, не суждено мне стать гением челночной дипломатии. Да и надо ли? Этих детей зомбоящика не переубедить, не перекроить. Тем более что Санёк, от рождения подонок, может оказаться прав, и дело не дойдёт до обвинительного приговора. Присяжные себя уже в таких процессах показали. Они всегда кожей чувствуют, чего от них власть хочет. А власти потребовались джины, их всегда держат в бутылке про запас, до случая, до политического кульбита. Время настало, и вот их выпустили на волю, нацепив

разномастные свастики. Безубойный, отработанный и проверенный вариант. Так что приговор – это, как говорится, пятьдесят на пятьдесят».

– Здесь толстые папки компромата и копии видеозаписей, которые твои же соратники сладострастно писали во время ваших акций. У суда неопровержимые доказательства вины твоих подельников, – Ренат спокойно указал в сторону сейфа, – и лично твоей вины, Саня. А я, как тебе известно, адвокат потерпевшей стороны. Более того, тебе так же хорошо известно, какой я адвокат, – он намеренно сделал акцент на слове «какой» таким тоном, от которого Толкунова передёрнуло. – Так что доцентство твоё дутое на тоненьком волоске висит, как и свобода твоя, на хрен никому не нужная. Ты же, Санёк, умный, сам сказал. Так что ты меня сейчас понимаешь…

– Мне ли не знать, «*какой*» ты, Гордеев, адвокат. Смешно сказать, но мы с тобой птенцы из одного гнезда. Если ты хотел со мной без протокола поговорить, зачем звонил мне, зачем заставил произнести всю эту х. ню? Чтобы сделать меня посмешищем кафедры, да ещё и мобильник не отключать, чтобы и ты мог моим фиаско насладиться? – захлёбывался обвинениями Толкунов. – Тебе что, Гордеев, непременно надо было меня публично унизить? Мы же с тобой с детства в одном дворе росли, а ты меня «фэйсом об тэйбл» с растяжкой повозил из-за какой-то никчёмной твари, из-за стервы, молокососки, хамки. Друг детства называется! Я ей не интересен, видите ли! Это ей наша бездарная писака Дарья вбила в голову, что она талант! Не талант она, а бездарь! Такая же бездарная, как и её покровительница! – пытался он выговориться и тем самым скрыть одолевающий душу страх.

– Ну, про одно гнездо это ты лихо хватил. Пусть тебе такой красивый сон не снится. А по поводу «интересен-не интересен», так ты сам, доцент, в другой раз талантом блесни. Лекции, как Дарья, к примеру, поискромётнее читай, может, и будешь интересен кому-нибудь, но это, я думаю, когда десятку свою в зоне отмотаешь, а пока не обессудь: ты и мне-то не интересен, а студентам подавно! А насчёт Маши учти: пальцем тронешь – тебе не жить! Ты меня знаешь, зря пугать не стану. – При упоминании Маши Гордеев явно занервничал, что не укрылось от цепких глаз Толкунова. – И ещё, Санёк, крепко себе заруби на носу: за каждым, учти за каждым(!), кого ты захочешь обидеть, всегда стоит тот, кто захочет обидеть тебя! Крепко обидеть, Санёк, запомни это! «Земля круглая, а жизнь длинная, ну, а наука умеет много гитик!», чтоб ты знал.

– Это-то здесь при чём, в карты меня проиграть собрался? – язвительно усмехнулся Толкунов.

– О, а ты оказывается и впрямь у нас интеллектуал, извини, не учёл, а раз так, то ты знаешь, что у этого карточного фокуса есть секретный код. Вся наша жизнь, Санёк, большой карточный фокус с секретным кодом, который мало кому дано постичь! Усёк? Аудиенция окончена. Свободен. И не забывай: временно свободен!

Уже взявшись за ручку двери, Сан Саныч обернулся и, не скрывая настигшего вдруг иезуитского прозрения, почти прошипел:

– Дорогой друг детства Ренатик, а ты не подумал, что за каждым, кого ты обидел, тоже стоит некто, готовый обидеть тебя? И десяткой в зоне как бы нам с тобой поделиться, а то и поменяться не пришлось, Гордеев! Боюсь, что придётся, если, конечно, тебя раньше не грохнут!

– Только попробуй шевельнись в эту сторону. Пошёл вон, мразь.

Ренат произнёс это так негромко и так спокойно, что Толкунов похолодел от ощущения нешуточной опасности, прошелестевшей у самого виска.

Адвокат Ренат Гордеев никогда слов на ветер не бросал. Профессия закалила его и открыла великие возможности. В своей адвокатской практике он защищал разных людей: правых и виноватых, сильных и слабых, влиятельных и беспомощных. Защищал людей случайных и честных, и известных мафиози, и воров в законе, и политических деятелей, не чистых

на руку. Кого он только не защищал. И как много он выиграл процессов, которые, исходя из принципов человеколюбия, порядочности и справедливости, стоило бы проиграть.

Он знал, что в случае надобности может найти поддержку и в криминальном мире, и у власть имущих, да мало ли ещё из каких сфер такая поддержка потребуется. Ренат понимал, что всегда, если всерьёз возникнет нужда, поддержка у него будет и «справа», и «слева». Уверенность твёрдо стоящего на ногах человека сквозила во всём его породистом облике.

Все, кто попадал в круг его интересов, независимо от внутренних убеждений ценили адвоката Рената Гордеева за его безупречную порядочность. «Весьма спорная оценка, – говорил он сам себе по этому поводу, иронично переходя на тавтологию, – бесспорно, спорная».

Не пренебрегая никакими защитами (профессия обязывает), с особым удовольствием он вёл процессы, где был уверен, что защищает правых, отстаивает честь действительно достойных людей. Справедливости ради следует сказать, он никогда не мнил себя современным Робин Гудом, берясь за процессы, подобные тому, что вёл сейчас. При всей своей врождённой порядочности он был в достаточной степени циничен, прагматичен, тщеславен, да и в отношении этой самой порядочности, доставшейся по наследству, вполне гибок. Он всегда отдавал себе отчёт в том, что адвокатская практика обязывает поступаться личными принципами и пристрастиями. В работе он был верным сыном Фемиды, а она, как известно, дама с завязанными глазами. Утверждают – для большей объективности. Как бы не так…

Было и ещё одно обстоятельство, наложившее неизгладимую печать на личность и поведение молодого адвоката. Ренат был богат и свободен. По-настоящему богат и оттого по-настоящему свободен. Его нынешнее богатство не требовало от него непрестанной заботы, какая доставалась людям бизнеса. Его богатство было иным. Он не стремился нажить или украсть много денег. Ренат вырос в семье, которая никогда не бедствовала, так что к своему богатству он пришёл не «из грязи в князи». До тридцати лет зарабатывал достойной адвокатской практикой. А потом, как в сказке про Аладдина, ему волею случая досталось настоящее миллионное наследство.

Накануне своего тридцатилетия, к которому он готовился с особой тщательностью и собирался провести этот день в Буэнос-Айресе, и уже получил аргентинскую визу и купил билет, чтобы лететь туда, к своей тётке, родной сестре отца, произошла трагедия – тётя Кэт внезапно скончалась.

Он виделся с ней лишь дважды в жизни. Впервые маленьким мальчиком, когда тётя со своим аргентинским мужем приезжала в Москву на несколько дней повидать немногочисленных оставшихся в живых родных. Катя, которую в семье с детства звали Кэт, словно предвидя её заокеанское будущее, была чуть младше отца, уехала из Советского Союза с большим скандалом семнадцатилетней девочкой, влюбившись в аргентинского дипломата. Где, как и при каких обстоятельствах сошлась эта странная пара – зрелый красивый мужчина и несовершеннолетняя, ещё не успевшая расцвести девчонка – в семье обсуждать не любили. Регулярно от тётки приходили письма и подарки, а время от времени находили родных и её официальные приглашения на соответствующих бланках, позволяющие им всей семьёй обратиться в аргентинское посольство за визой. Приглашения всякий раз оставлялись родителями без должного ответа и волнующих сборов.

Второй раз Ренату довелось повидаться со своей щедрой и, как оказалось, весёлой и интеллектуальной тёткой незадолго до её безвременной кончины, когда он приехал в Буэнос-Айрес на Международный адвокатский конгресс. Они провели с ней в теснейшем общении две незабываемых недели. Отношения сложились такими лёгкими и беззаботными, что расставались они уже самыми близкими на этой земле людьми. К этому времени Ренат третий год переживал своё неожиданное сиротство. Вечерами, когда он возвращался с заседаний, тётка тащила его на прогулки вдоль площади Пласа-Дорего, демонстрируя любимые ею антикварные лавки. Дома перебирала и с восторгом комментировала ему вещи, стоившие многие тысячи

песо, и ровно с тем же эмоционально насыщенным всплеском рук извлекала из куч всяческого трэша копеечные безделицы. То и другое было дорого ей. Это были свидетельства её жизни. Её удивительно счастливой жизни с любимым человеком, страсть к которому сквозила через все воспоминания Кэт даже спустя годы после его кончины.

Не иссякла с годами и страсть к собиранию безделиц. И, когда Ренат мягко отговаривал её от очередной непрактичной покупки, тётка, подобно маленькой девочке, сжимала губки и обиженно выговаривала: «Какой ты злюка, вот Мигель бы непременно позволил!» И вздыхала юной школьницей перед первым свиданием.

А как только конгресс закончился, Кэт, лихо лавируя на своём роскошном лимузине по равнинным и горным дорогам, устремилась с ним в дальние поездки по стране. Они ехали то к Берисо и Ла Плате на юг от столицы, то к Санта Фе, Кордове и Мендозе на запад, то она неслась с ним к бразильской границе показать племяннику удивительной красоты водопады Игуасу. Она с наслаждением везла его в свои самые любимые места, где провела лучшие дни со своим покойным мужем. Было ясно, что Кэт всё ещё продолжала любить своего Мигеля, и ни двадцать лет разницы в их возрасте при его жизни, ни пять лет вдовства после его смерти не были помехой.

По возвращении Рената в Россию они созванивались каждый день в течение четырнадцати месяцев и им всегда было что сказать друг другу. Они оба ждали очередной встречи, и ей не терпелось поделиться с племянником грандиозными планами их поездок к глетчерам и айсбергам, которые она припасла в качества подарка к его грядущему тридцатилетию. А потом мобильник неожиданно умолк. Ренат в сильнейшем беспокойстве сутки тщетно пытался выяснить причину. Утром следующего дня позвонил секретарь Кэт и сообщил на отменном английском, что мадам после тяжёлого инсульта скоропостижно скончалась в одной из престижных частных клиник и что, несмотря на героические, заслуживающие несомненного доверия усилия персонала, спасти ей жизнь не удалось.

Чопорная речь секретаря, получившего в своё время блестящее образование в Лондоне, оставила у Рената ощущение неправдоподобности произошедшего. «Несмотря на героические, заслуживающие доверия усилия персонала». Какого доверия? Она ещё не дожила до шестидесяти и была абсолютно здорова. Он немедленно вылетел в Буэнос-Айрес, но на похороны не успел. Слишком длинным оказался путь. В аэропорту его встретил секретарь, а через два дня адвокат Кэт ознакомил его с завещанием, согласно которому он являлся единственным наследником громадного тёткиного состояния со всем её движимым и недвижим имуществом и денежным эквивалентом…

* * *

Внимательная Нэля Дмитриевна, почувствовав его настроение после ухода неприятного посетителя, вошла в кабинет и спросила, не хочет ли он чаю или кофе, оторвав Рента от вдруг нахлынувших воспоминаний, но он отказался, сославшись на запланированные встречи вне офиса, забрал из сейфа кое-какие бумаги, диск с видеозаписью и уехал.

Grandissimo[2]

Прочтёшь ли ты слова любви немой?
Услышишь ли глазами голос мой?
В. Шекспир, сонет 23

Ох уж эта парковка возле университета! Завтра только на метро! Лавировать в безумных, сказочных после долго стоявшей оттепели сугробах под тревожный стон ветра выше моих сил. Об этом красиво читать, ну, писать, наконец, но не парковаться! Я издаю очередной стон, и тут же перед моим носом освобождается место. Нет, все-таки машина – это бесспорное благо цивилизации!

В редотделе девочки суетятся с чаем. Им надо со мной поболтать. Куда же деваться бедному писателю от всенародной читательской любви? Как обычно, позволяю себе иронию. А как без неё? Обе сотрудницы – красотки, высокие, стройные, невероятно, до стона, стильные и ухоженные. Оленька – яркая синеокая блондинка, Ирочка – не менее яркая зеленоглазая брюнетка.

Я для них источник новых баек и книжек с автографами, которые они вряд ли читают. Они для меня кладезь всей непечатной университетской информации. Как жить писателю без информационного потока сплетен? Что мне особенно нравится в наших беседах, ни Оленька, ни Ирочка выдаваемых мне сплетен не фильтруют, поэтому нередко я узнаю весьма интересные и пикантные подробности о себе любимой. «О! – восклицаю я всякий раз не без удовольствия, – это надо же какие неправдоподобно восхитительные слухи обо мне ходят! И какие злые суждения! Просто любо-дорого! А я уже было начала думать, что совсем никому не интересна». «Что вы, что вы, Дарья Сергеевна, – уверяют наперебой меня обе собеседницы, – интересны, ещё как интересны! А злятся, потому что завидуют!»

Сегодня они в красках передают мне наше заседание кафедры недельной давности. Оно уже успело обрасти массой не относящихся к делу подробностей и, мягко говоря, не совсем правдивых деталей. Именно эти-то детали и являются для меня самыми привлекательными: они лакмусовая бумажка «отношения коллектива к отдельным персонажам», включая меня. В этом повествовании мы с Фёдором просто два героя, два рыцаря без страха и упрёка. Особенно, разумеется, Федя, в которого, судя по моим давним наблюдениям, влюблены обе девушки.

Вволю напившись чая, всласть наболтавшись с красотками Оленькой и Ирочкой и бегло просмотрев после их редакторской правки рукопись очередного учебного пособия, которое вряд ли кто-нибудь, кроме его авторов, будет когда-либо читать, я ставлю свою размашистую подпись, испытывая обычные при этой чисто формальной процедуре угрызения совести: я опять (ну сколько же можно!) открыла кран потоку очередной преподавательской бездарщины. Да простит меня Бог на Страшном Суде и выдаст мне не самую горячую сковородку! Только за попустительство – смягчающее вину обстоятельство! Пусть учтёт, что не я это всё написала! Не я!

– Ой, – вспоминает вдруг Оленька, – мы ведь с Ирой совсем забыли вам, Дарья Сергеевна, забавную историю рассказать.

Ценные кадры! Никогда не уйдёшь от них без свеженькой сплетни.

– Шикарную историю, Дарья Сергеевна! Вы только послушайте, – подхватывает Ирочка.

– Наш приятель Лёха, ну, вы его знаете, славный такой блондин с архитектурного, на прошлой неделе читает лекцию второкурсникам и по ходу «пьесы» непринуждённо так справляется у этих будущих светил архитектуры: «Вы, конечно, знаете имя знаменитого античного

[2] Игра без козырей.

учёного, которому принадлежат слова, основа основ практической деятельности любого архитектора – «польза, прочность, красота»?» Аудитория молчит, насупив бровки и наморщив лобики, изображая упорный поиск мысли. Но она ускользает от них вёртким угрём.

– Дурачки малолетние, – вклинивается Ирочка, – спросить у всезнайки интернета не догадались!

– Ага, то ли спросить не догадываются, то ли пытливый взгляд нашего Лёхи так сверлит, что опустить глаза в смартфон никто не решается. А Лёха он у нас упорный, как бульдог, если вцепится зубами, не оторвёшь! Он им так ласково якобы напоминает: «Ну, римский архитектор, механик, учёный-энциклопедист… ну же, вспоминайте!»

– Ой, смехота! – добавляет Ирочка. – Лобики студенческие морщатся ещё старательнее, но без особого успеха. А Лёха наш всё так серьёзно, так огорчённо вздыхает: «Ай яй-яй! Ну как же так? Давайте я вам немножко подскажу?» Выдерживает театральную паузу, отклика нет. Ещё один вздох в глухую бездну пустоты. Эффект стабилен. Тут Лёха не выдерживает и начинает подсказывать: «Его зовут Марк… Марк, ну… ну… вспоминайте…»

– И тут, Дарья Сергеевна, не поверите, – Оленька снова перехватывает инициативу, – аудитория взрывается дружным хором узнавания и радостно скандирует имя кого бы вы, Дарья Сергеевна, думали? Имя хорошо вам известного и, не побоюсь этого слова, любимого всем университетом, харизматичного профессора Марка Григорьевича Удальцова! Ой, веселюсь не могу!

– А Лёху нашего просто истерический хохот сотрясает! Он у нас парень с чувством юмора, – безудержно смеётся Ирочка. – Лёха хватает свой ноут и со всех ног летит в преподавательскую. Рыдая и захлёбываясь смехом, бросается к Удальцову: «Марк! Марк Григорьевич! Профессор! Поздравляю! Студенты ждут Вас, профессор Витрувий! И жаждут общения!»

– Теперь вторую неделю Удальцова зовут не иначе как Марк Григорьевич Витрувий! – заливаются мои собеседницы.

– Вот незадача, – улыбаюсь я им на прощание. – Никогда не знаешь, за каким углом тебя поджидает слава!

По извилистому длиннющему полутёмному коридору несусь, сметая на пути препятствия в виде швабр, мусорных пакетов и вёдер, забытых ещё с утра уборщицей. Надо добежать до кафедры вовремя, а до назначенной встречи у меня не больше пятнадцати минут. Мой гость – человек пунктуальный. Эта мысль подстёгивает меня, провоцируя невероятно радующую юную прыть. И вдруг навстречу (ба, вот так сюрприз!) Сан Саныч. С последнего заседания кафедры ни разу не встречались! И вот на тебе!

Нет, недооценила я Сан Саныча, а напрасно. Никогда всерьёз не анализировала непечатную информацию Оленьки и Ирочки. А зря! Не прислушивалась к разговорам о гипертрофированном самолюбии Толкунова, о его мнительности и мстительности. О, глупая я, глупая! На пути из редакционного отдела, загнанного в самый дальний край университетских просторов, Толкунов останавливает меня в безлюдном коридоре и, заблокировав у единственного на этом пролёте окна с ехидной улыбкой сообщает:

– А ведь я, Дарья Сергеевна, знаю, что вы были четыре раза замужем!

– Неужели четыре? – искренне изумляюсь я. – Спасибо, Сан Саныч, а то сама-то я со счёта уже сбилась. Вам ли не знать: у гуманитариев с математикой всегда нелады.

– Четыре брака – это, позволю себе заметить, недопустимо для педагога высшей школы! – пропускает он мимо ушей мои банальные шутки.

– Да, – отвечаю я спокойно, – я знаю, что незнание законов не избавляет от ответственности за совершённые преступления, но, клянусь честью, я не только не знала о запрете выходить замуж четыре раза, но и нигде об этом не прочла. В Законе об образовании Российской Федерации в последней редакции, а, возможно, и в первой тоже – ограничений на количество браков преподавателей нет. В Уставе нашего славного университета подобного запрета тоже

не встречала. Допускаю, что преступно ошибаюсь, – пытаюсь я сохранить на всякий случай подобие серьёзности.

– Всё язвите, Дарья Сергеевна! А между тем студенты с вас пример берут!

– Не может быть?! – я продолжаю изумляться. – Вы уверены, Сан Саныч, берут? Когда успевают? Они же такие молодые? По четыре раза? Умоляю, покажите мне этих отличников боевой и политической подготовки. Просто не могу поверить своему счастью! Они ведь сейчас все как один борются за здоровый образ жизни! – вздыхаю огорчённо. – Разумеется, в этот пакет включён абсолютно единственный брак и совсем не ранний! Я им, к сожалению, ни в том, ни в другом не пример. Тут вы, Сан Саныч, совсем не правы!

– Дарья Сергеевна, не надо паясничать, увиливать и делать вид, что вы не понимаете! Чётное число ваших браков не делает чести вам и, что гораздо важнее, не добавляет чести университету!

– Чётное? – тут я уже без всякой иронии «охреневаю». – О, насчёт университета, Сан Саныч, вы можете быть совершенно спокойным. Он свою честь отстоит с честью! Более того, могу вас абсолютно успокоить: наша с вами частная жизнь вряд ли может университет заинтересовать, ему своих забот хватает! Что же касается чётного или нечётного числа моих браков, то это в цифрах такая мелочь: плюс-минус два-три – туда-сюда! А вы, значит, лично нечётное количество браков предпочитаете?

– Разумеется, нечётное, Дарья Сергеевна, – без промедления хватает мою наживку Толкунов, имея в виду цифру один.

– Жаль. Что ж, придётся мне вступить в пятый брак, нечётный, чтобы вам потрафить, а ведь, видит Бог, я этого не хотела. Но из глубокого уважения к вам лично вступлю!

Я с нескрываемым удовольствием наблюдаю, как взбешён Толкунов, как перекашивается его жёлчное лицо, наливаются кровью бесцветные глаза, взвивается рука, готовая ударить меня наотмашь, и срывается до хрипоты голос:

– Дрянь, старая распутная дрянь!

И вдруг он осекается на полуслове, рука повисает безжизненной плетью. Из-за его спины Федя Проскуряков насмешливо произносит:

– Вас спасать, Дарья Сергеевна?

И мы оба безудержно хохочем вслед тощей фигуре, с прискоком удаляющейся по длинному мрачному коридору.

Ренат появляется ровно в двенадцать.

– По тебе, Ренат, хоть часы проверяй, ты случайно не на метле?

– Нет, метла – это женская привилегия, тебе ли, Дашута, не знать?

Мы всегда беззлобно поддеваем друг друга – верный признак настоящей любви.

Как странно судьба тасует колоду, определяя знакомства, встречи, симпатии-антипатии, протягивая ненавязчивой рукой тонкие нити привязанностей? Удивительно, что самыми крепкими и надёжными иногда оказываются совсем не обязательные отношения. Вот как у нас с Ренатом. Нас разделяет так много – возраст, пол, круг профессиональных интересов, друзей, привычек, но роднит нас гораздо больше. Каждая наша встреча, говоря высокопарным языком, которым ловко орудует Ренат, подшучивая надо мной при наших встречах – это истинный гимн душевного единения. Такая ничтожная субстанция, которую ни увидеть, ни потрогать, а связывает намертво.

– Повезу тебя сегодня, Дашута, в «Редисон», – он распахивает передо мной дверцу. – Там пусто. А у меня к тебе долгий, тихий разговор.

– На тыщу долларов? – интересуясь я по инерции.

– Нет, Даша, на тыщу лет оставшейся мне жизни, – отвечает он серьёзно.

Едем, пикируясь обычным манером. Ренат, как всегда, улыбчив, ироничен, собран и спокоен, но мне уже ясно: у него что-то стряслось.

До десерта пустой трёп в несколько помпезной атмосфере обеденного зала. Нет, Ренат, при всех твоих достоинствах ты всё-таки сноб. Когда ты снисходишь до более демократичных мест, наше душевное единение веселее и ощутимее. Белоснежные до боли в глазах скатерти напрягают? А может, летают здесь в воздухе флюиды обстоятельной уверенности, исходящие от этих одиноких фигур за дальними столиками, уничтожающих остатки жизни в богатом искусственном пространстве? Или затесались между нами ещё какие, едва ощутимые неудобства, но до разговора «на всю тыщу оставшихся лет» дело никак не доходит.

По поводу каждого из блюд, над созданием которых трудятся волшебники, назвать их поварами язык не повернётся, Ренат шутит и при этом заливисто смеётся: бездумно спускаю, мол, тёткино состояние на эксперименты этих бездельников надо мной. К своему нежданно-негаданно свалившемуся богатству он относится с философским скептицизмом и истинной грустью. Любил Ренат свою тётку, так неожиданно оставившую его теперь уже полным сиротой.

После десерта устраиваемся в глубоких роскошных креслах холла выпить по чашке кофе.

– А расскажи ты мне, Дашута, только не увиливай, что там у вас происходит? – неожиданно грустно и тихо спрашивает Ренат.

– Там – это где? – искренне недоумеваю. – Если ты о Павле, то, я полагаю, ты о нём знаешь больше меня. Он твой родственник, а я ему кто? Я – отрезанный ломоть…

– Нет, о Павле я всё знаю… почти всё, – он замолкает в раздумье, не улыбаясь. – Я про университет, про кафедру твою, Дашка, про заклятого друга детства моего – Саньку, Сан Саныча, про Витьку Прудникова, про Машу Савельеву… Расскажи мне подробно, в деталях, обо всём, что связывает этих людей, и о том, что ты думаешь о них, о каждом из них. Попробуй убрать эмоции. Только факты, только объективно… Впрочем, про эмоции я зря, валяй с эмоциями. Даша, это очень серьёзно. Это дело жизни и смерти… Не в фигуральном смысле. Это дело моей жизни… «на всю тыщу» оставшихся лет…

Сердце покалывает и ноет. Я ничегошеньки о нём теперь не знаю. Я никогда не видела у него таких безнадёжно больных глаз, даже тогда, когда мы, похоронив его родителей, уже после поминок сидели втроём в жалкой забегаловке, первой попавшейся нам по дороге домой в промозглой стыни тех посмертных сумерек.

И вдруг я понимаю, что на этих, перечисленных таким будничным тоном людях для него сошлись в каком-то смертном, неправдоподобном, нелепом бою его профессиональные и глубоко личные интересы. О чём мне ему рассказать? О мёртвой хватке, которой туповатый подлец Сан Саныч вцепился в мою любимую ученицу? О погаденьком недоумке Прудникове? И как только нас угораздило дотянуть его до дипломной работы?! О его конфликте с умной Машкой, над которым хохотала вся кафедра? Это ж надо: «Мамашу его, Иисуса Христа то есть, насквозь русского, тоже звали Марией по фамилии Магдалина»?! Господи, кому только мы не вручаем дипломы через пять лет жутких мытарств всего преподавательского коллектива?

И я подробно (сам просил), с массой деталей, которые высмеиваю по укоренившейся писательской привычке, рассказываю об этих неприятных мне, ущербных людях, насквозь пропитанных пошлостью и глупостью, как пропитаны арагонитом растения, попавшие в карбонатные рассолы Памуккале. Их поступки вызывают у меня стойкое неприятие, но я продолжаю жалеть их, никчёмных и убогих, и ничего с этим уже не могу поделать.

Искренне увлекаюсь своим повествованием и вдруг, столкнувшись с внимательным взглядом Рената, неожиданно понимаю (тупица непроходимая): он хочет услышать о Маше, только о ней! Как же я раньше не поняла? О Маше! Только этот вопрос он мог оценить в «тыщу оставшихся лет жизни», только о ней он способен сказать – «дело жизни и смерти». Как я могла быть настолько слепой, чтобы не задуматься о его участившихся визитах в университет?! Двойка тебе, Дарья! Жирная красная двойка!

– Ренат, а зачем ты спросил меня о них? Они стоят нашей беседы?

– Работа, Даша, такая. Я же адвокат, ты забыла?

– Неужели кого-то из них защищаешь? Сочувствую…

– Я разных защищаю: и правых, и виноватых… Переходим к Савельевой…

– Ренат, а ведь я с тобой, если что, раздружусь…

Мне грустно, я неожиданно понимаю, что страшусь за Машу, за юную, совсем неземную девочку, с её порой отрешённым взглядом, устремлённым даже не за окно, а в какие-то далёкие, никому из смертных неведомые миры. За хрупкую Машу, которая, вероятно, влюблена сейчас без памяти в этого аристократа, красавца, ловеласа и повесу. Должна быть влюблена, коль скоро она с ним знакома. А я и не знала.

В него невозможно не влюбиться. Скольких царственных, утончённых дам привозил он в наши с Павлом дачные «хоромы»? Калейдоскоп нарядов и украшений проплыл перед нашими глазами. Каждую новую претендентку «на руку и сердце» он считал своим долгом представить родственникам, как бы демонстрируя не столько их самих, сколько свою неординарную состоятельность: «вот, любуйтесь, это моя новая прекрасная дама, а следующая будет еще краше». Сноб, глупый маленький мальчик! Мы с Пашей посмеивались над ним и легко прощали эту его, пожалуй, единственную слабость.

– У тебя на это нет права, – ответил он, не улыбнувшись, – и не будет, как не будет и повода… никогда.

Ренат был немного бледен, или это мне только казалось в приглушённом свете шикарного холла. Вот поди ж ты, знай, с какой колокольни пустит очередную стрелу этот беспутный, негодный мальчишка Амур?

И я рассказываю ему о Маше, её двух мамах, папе – рыцаре без страха и упрёка, влюбившемся сначала во вздорную шалаву – пробный брак далеко не всегда бывает удачным (мне ли этого не знать?), а потом, слава богам, нашедшем чудесную молодую женщину, душа которой точно совпала не только с его собственной исстрадавшейся душой, но и с Машиной. Я рассказываю ему всё, что когда-то открыла мне доверительно первокурсница Маша, сидя в моей гостиной за чашкой чая, к которой не притронулась за весь долгий вечер. Доверив мне так много, она не взяла с меня слова хранить сказанное в тайне, но это предполагалась по умолчанию, а я сегодня преступно тайну нарушила. Почему? Наверное, седьмое чувство подсказало, что именно этот рассказ был важен сейчас Ренату. Он важен им обоим.

Я полезла в свою бездонную, как всякая женская, сумку, извлекла оттуда свёрнутый вчетверо лист, оставленный мне Машей после дипломной консультации две недели назад, и тихотихо прочла Ренату:

«Из оконца слюдяного, небывало-неземного
свет ночной свечи.
У оконца слюдяного окоёмом золотого
лунные лучи.
Отрешившись от дороги, остановит путник дроги:
ты, свеча, гори.
Он дождётся недотроги в перламутре – легконогой
утренней зари.
А когда в оконце ало, чуть лениво, чуть устало
хлынет яркий свет
Через щели до подвала, он начнёт всю жизнь сначала
в перепутье лет.
На обочине дороги без него застынут дроги,
потеряют путь.
Дань достанется не многим, суд не будет слишком строгим.
Разве в этом и суть?

Перебелит путник мелом прежней жизни опыт серый,
перебелит мрак.
И в своём порыве смелом, разменяет он на дело
ломаный пятак.
У оконца слюдяного нет ни доброго, ни злого.
Вертится Земля.
Остаётся от былого в медь впечатанное слово
в отблесках огня».

Ренат молчит. Потом протягивает руку, встряхивает лист, попытавшийся свернуться по моим безжалостным сгибам, молча обегает глазами строки.

– Маша?

Я утвердительно киваю. Правильно ли я поступаю на этот раз? Или, как обычно, глупость моя неизбывна?

– Мистика. Сюрреализм. «…*Перебелит путник мелом прежней жизни опыт серый, перебелит мрак*… – читает Ренат вслух. – …*Остаётся от былого в медь впечатанное слово в отблесках огня*». Жёсткая девочка, не ожидал. Рад… Спасибо, Дашка! – и уже весело, с прежней своей иронией, старясь разрушить мой недоверчивый взгляд, откидывается на запрокинутые за голову ладони и беспечно изрекает: – Плечо друга бесценно! Я счастлив! Даша, ты не поверишь, минуту назад ты сделала меня счастливым!

– Ренат, она очень непростая девочка, будь к ней внимателен, не поломай.

– Я постараюсь, Даша, я всю жизнь буду очень стараться, разумеется, если Маша сама мне это позволит. Всю жизнь…

Я сижу в этом чрезмерно богатом чужом холле и понимаю: судьба подарила мне драгоценный шанс прикоснуться к настоящей любви. Пусть даже не к своей.

Посланник

Усердным взором сердца и ума
Во тьме тебя ищу, лишённый зренья.
И кажется великолепной тьма,
Когда в неё ты входишь светлой тенью.
В. Шекспир, сонет 27

Маша вошла в комнату и удивилась приглушённому, переливающемуся свету, заполнившему все её пространство. Источник света не был виден, и свет казался густым и плотным. В нём хотелось плыть… Она обернулась к окну, пытаясь за его створками разглядеть волшебный фонарь. Окно было распахнуто, а в за ним разлито то же сияние. У окна в небрежной позе стоял высокий сухощавый красивый, пожалуй, даже слишком красивый мужчина. В руках он вертел трость с изящным набалдашником из светлого резного камня. Маша подумала: «Только цилиндра и не хватает». Несмотря на живую улыбку и внимательный взгляд, сканирующий вошедшую Машу, он весь как-то расплывался в чрезмерно густом световом потоке, и ей было трудно собрать этот неожиданно возникший призрачный образ воедино.

Она стояла в полном замешательстве, но даже не успела бросить подобающий столь необычному появлению вопрос, как незнакомец незамедлительно удовлетворил её интерес:

– Позвольте представиться и сесть. Посланник, – он церемонно раскланялся и так же вальяжно, как и стоял, устроился в кресле со словами: – Присяду здесь, вы-то сама это кресло не очень жалуете? Не так ли?

На что Маша невольно улыбнулась.

– Не очень, – спокойно согласилась она. – Только я не поняла, вы, собственно, кто и как здесь оказались? Можно, я вас потрогаю?

– Ну, нет, вот этого не надо! Зачем меня такой красивой девушке искушать?! – запрет прозвучал резко, но на лице незнакомца обозначилось удовольствие. – Я – наблюдатель, но в настоящий момент – посланник! – он снова церемонно раскланялся, чем окончательно её развеселил.

– А откуда вы, позвольте узнать? За чем вы «наблюдатель» и от кого «посланник»? – смеясь, спросила Маша.

– Ну, это малоинтересно и слишком долго объяснять. Не будем тратить и без того бесцельно уплывающее время и сразу приступим к делу.

Незнакомец устроился поудобнее, предложил Маше последовать его примеру и начал, несмотря на утверждение «долго» и «неинтересно», пространный рассказ: «Они удобно устроились среди древних развалин, наблюдая в лучах заката бесконечную вереницу путников, устремлённых к Вершине. Разноликая и пёстрая лента шкуркой роскошной тропической змеи распростёрлась вдоль дороги, заползая на обочины, покрытые то ковылём, то сухостоем, то серыми голышами промытых вековыми дождями камней…»

Когда он закончил, Маша в нетерпении воскликнула:

– Так чей же вы посланник, наконец?!

– Я, признаться, думал, что вы терпеливее и догадливее. Ну, разумеется, того путника, что отыскал камень ожидания близких. Чьим же я ещё могу быть посланником? Удивительная неосведомлённость о нашем мире, – проворчал незнакомец скороговоркой.

– И кто же этот путник? И чего он хотел от меня? – неуверенно начала Маша.

– Нет, нет и нет! – ненатурально вскричал незнакомец. – Я решительно вас, мадемуазель, переоценил! – И вдруг, неожиданно успокоившись и подавшись к ней всем корпусом, довери-

тельным шёпотом сообщил: – Папочка ваш, знаете ли, законный родитель ваш, командировал меня в ваши пенаты. Теперь ясно? Сидит, знаете ли, на камне и дожидается вас.

Маша подпрыгнула в радостном удивлении, готовая куда-то бежать, не зная куда, готовая что-то предпринять, не зная что. Она завертелась волчком по комнате, хватая первые попавшиеся вещи и оглядываясь в поисках дорожной сумки.

– Ну, вот это что? Что это, я вас спрашиваю? Куда это вы так заспешили? Папаша ваш затем меня и прислал, чтобы сказать: не надо к нему спешить, у него впереди Вечность для ожидания. А вы? Что это вы удумали?

Незнакомец беззастенчиво лгал, потому что кто же это мог Его послать? Кому такое могло даже в том мире прийти в голову? Он сам мог послать кого угодно и куда угодно! Нет уж, это увольте, это он для красного словца брякнул! Так, просто так, чтобы девочке понравиться… А она что же, зачем же она засуетилась? Он на то и посланник, чтобы предупредить, предостеречь, что её «там», конечно, ждут, но не вдруг, не сразу, не так быстро и уж точно не сейчас.

Она и так-то попала в сквернейшую историю, того и гляди предупреждения окажутся тщетными, и, на тебе, сама начала суетиться. Подгонять время и события! Безобразие форменное! Нет, это надо пресечь! Немедленно! И он совершил мягкий длинный отвлекающий словесный маневр. Подействовало!

Маша немножко успокоилась. Ей хотелось задать незнакомцу множество вопросов, говорить с ним долго, долго, выспросить все детали, сравнить, сопоставить, снова спросить. И вдруг потупилась, не решаясь произнести важный вопрос, потом глотнула тугой, тягучий воздух и выдохнула:

– А Марину? Марину папа тоже ждёт?

Незнакомец, уже собравшийся закруглять беседу, посмотрел на неё с интересом и произнёс твёрдо:

– И Марину! С её новым замужеством их нить не оборвалась. Ждёт. Рад, что она не вдовствует, присмотрена, устроена здесь накоротке. Да и брак их не оформлен, как тут у вас положено. А он дождётся. Ему спешить некуда. И Марина ещё не скоро у нас там будет, – продолжал он чуть ли не мечтательно.

– Значит, я раньше? – догадалась Маша.

Посланник вскинулся, понял, что брякнул лишнее, недозволенное порядком, и примирительно произнёс:

– Ну, это уж как вы сама, красавица моя, жизнью своей распорядитесь. Не нашей это епархии дело… А вообще затем и послан, чтобы предостеречь, чтобы вы не торопились и не суетились, на амбразуры не бросались и жизнью своей дорожили. И вообще, ничего ещё не решено, кто кого и как долго дожидаться будет. Осторожность, ещё раз осторожность и трепетное отношение к своей и чужой жизни!

Маша не столько поняла, сколько почувствовала: вот сейчас всё кончится, и посланник исчезнет, а она ещё ничего не спросила, и так много всего того, о чём она боится спросить, а надо. Вот он уже поднялся с кресла, оглядывает комнату…

Она встала и стремительно бросилась к нему, но получила ощутимый удар в плечо, натолкнувшись на набалдашник его роскошной трости, которой он попытался отстраниться от Маши. Посланник удивлённо и недовольно вскинул бровь, развернулся к распахнутому окну, свет сгустился до сумерек, а потом до полной темноты, в ушах зазвенело, вначале откуда-то издалека, потом всё настойчивее. Маша поняла: это будильник, пора вставать, – и окончательно проснулась.

В комнате было совсем светло, окно распахнуто. Она вспомнила, что оставила его с вечера слегка приоткрытым. Следов чужого пребывания не было. «Это ветер, – сообразила Маша. – Вот так сон? Ну и ну! Чего только не привидится? Скучаю по папе… Думаю о пут-

никах, наблюдателях и посланниках. Обо всём и обо всех из нашей с Мариной книжки. Как странно приснились? Словно наяву…»

Плечо ныло. Она подошла к зеркалу и увидела большой абсолютно круглый отпечаток от набалдашника трости ночного гостя из её странного сна.

Разнополый марьяж[3]

Кто предаёт себя же самого —
Не любит в этом мире никого!
В. Шекспир, сонет 9

Я уже никогда не стану богатой, не буду жить на Лазурном Берегу и рассекать океан на белой яхте с алыми парусами. Я никогда не буду двадцатилетней длинноногой блондинкой, приковывающей к себе восторженные взоры мужчин и завистливые – женщин. Я никогда не напишу роман в духе Жорж Санд или моей тёзки Дарьи Донцовой.

Почему? Да просто потому, что я сама человек в другом стиле, в другом измерении – это я о блондинках (а жаль!), в другом общественном статусе, поменять который уже не в моих силах. Меня никогда не полюбит Брэд Пит, потому что мне никак не выдержать конкуренции с Анджелиной Джоли. Нет, с ней он, по-моему, уже расстался, но это дела не меняет.

И сама я никогда не полюблю высокого, стройного, синеглазого блондина просто потому, что блондины вообще не в моём вкусе. Мысль интересная. А, собственно, почему так уж и не в моём? Надо будет обдумать это как-нибудь на досуге. Я никогда не надену мини-юбку, хотя, признаться честно, очень хочется. И ноги, и фигура это пока ещё позволяют. А вот, поди ж ты, никогда не надену! Господи, чего же ещё я не смогу себе позволить никогда?

Нет, не стоит себя огорчать прямо с утра чересчур длинным списком «никогда». Лучше подумать о том, что я ещё могу себе, любимой, позволить.

Ну, разумеется, прежде всего, я могу себе позволить сидеть вот так, как сейчас, удобно устроившись в большом красивом кресле на балконе своей не менее красивой дачи. Спасибо моему четвёртому мужу! Спасибо! И дай ему бог здоровья на долгие годы! Да, забыла, дай ему, кроме душевного и физического благополучия, ещё и счастья в придачу… Нет, пусть лучше благополучия в первую очередь. С годами становлюсь меркантильной.

Так вот, благодаря Павлу я могу теперь часами глядеть на совершенно бесподобный пейзаж, краски которого на чистой синей глади озера в течение дня беспрерывно меняются. С тех пор как Павел купил эту дачу, я понимаю импрессионистов! Боже, как я их понимаю!

Я могу наблюдать со своего балкона жизнь дачного посёлка, почти совершенно в этой жизни не участвуя, невзирая ни на какие уловки соседей к этой жизни меня приобщить, потому что я по натуре киплинговская кошка, которая гуляет сама по себе.

Я могу написать новую книгу и получить какой-никакой гонорар и махнуть, к примеру, на Канары, а могу не писать ни строчки хоть до конца жизни и при этом, как бы это ни казалось странным, не умру с голоду. Неустанно благодарю тебя, Павел Ильич, муж мой дорогой, четвёртый по счёту. Чётный! Дурак ты, Сан Саныч, чётный муж – это хорошо! Это, Сан Саныч, отлично даже! Слава богу, а может к глубокому сожалению (кто его разберёт?) теперь уже бывший…

Четвёртый! Это же просто с ума можно сойти от такого количества бывших мужей. Как же это меня угораздило четыре раза наступить на одни и те же грабли? Непостижимо! А, собственно, почему непостижимо? Вполне постижимо – простое стечение обстоятельств. Вот так, господа хорошие! Я всегда могу ловко найти себе оправдание в чём угодно. Если, разумеется, не впадать в обычные для меня самокопание и самоистязание.

Жизнь как сложный карточный фокус с секретным кодом, про который любит твердить Ренат: чего только в ней не может быть. Ты, Ренат, прав!

[3] Дама и король разных мастей.

Вспоминаю, как несколько лет назад после упоминания за семейным застольем этих самых никому не известных гитик мы с Павлом в один голос стали уговаривать Рената продемонстрировать нам секретный код. Затаив дыхание, смотрели во все глаза, пытаясь уловить, разгадать, казалось бы, простую загадку. Потерпели фиаско. Все трое дружно смеялись. Потом звонко «чокнулись» и запили отменным вином нашу с Павлом неудачу и откровенную туповатость в вопросах карточного шулерства. А потом уже до поздней ночи философствовали о сложностях жизни, о драгоценных крупицах бытия, о скрещении судеб. Вот уж фокус так фокус…

– Даша, доброе утро! – снизу машет мне приветливая старушка Елена Дмитриевна, моя самая приятная здесь собеседница, почти безвыездно обитающая на соседней даче. – Я смотрю, сидите так тихо за чашкой кофе, ах, нет, чая зелёного, я и забыла, что вы чай зелёный предпочитаете. Новый роман, наверное, обдумываете? Не забудьте, как книгу закончите, меня своим новым произведением угостить. Я ваша, Дашенька, большая поклонница.

– Доброе утро, Елена Дмитриевна, заходите, я вас лучше чаем угощу, это гораздо полезнее моих небылиц, – и мысленно добавляю: «Сотканных из смеси моих чудовищных по уровню правдоподобия снов и совершенно неправдоподобных реалий».

– Нет, милая, спасибо, иду своих пострельцов-близнецов Ивана да Марью искать. Они специально от меня прячутся. А я волнуюсь. Так-то детки они неплохие да и большие уже, но мало ли что. Время сейчас, сами знаете, какое! А детки-то они хорошие, дружные, водой не разлить, даром что Иван да Марья.

Елена Дмитриевна продолжает неспешный путь в силу своих… О нет! О возрасте женщин?! Ни под каким предлогом! В силу своих, скажем мягко, «с хвостиком» лет, продолжает путь вдоль берега в поисках внуков, за которых чувствует свою, неведомо кем возложенную на неё ответственность. А может, и не кем, а чем – вероятнее всего, профессией, которая для неё, правда, теперь уже в прошлом.

Елена Дмитриевна исчезла за последним видным мне изгибом тропинки, теперь продолжим бездельничать. Что ещё я могу себе позволить? Могу влюбиться. Это теоретически вполне вероятно. История и литература знают немало подобных курьёзов, случавшихся с дамами и постарше. Могу даже влюбить в себя. Да?! Вона как мысль пошла?! А почему бы и нет? Мужчины всё ещё обращают на меня внимание. Изредка. Надо будет мысль о голубоглазом блондине додумать, найти такого блондина и влюбить в себя. Будет вполне занятно, в первую очередь мне самой… Ну, это уже когда полное безделье на горло наступит…

А лучше влюбить в себя миллиардера с роскошной яхтой. Нет, это уже, кажется, было в списке «никогда»? А может всё-таки совместить блондина и миллиардера в «одном флаконе». Что-то я опять уплываю в мир неприличных грёз! Ну, что поделать – писатель… Ага, писатель фантаст… Жанр поменять? Тоже мысль.

Так, двинемся дальше. Что же я ещё могу? Могу выйти за голубоглазого блондина-миллиардера замуж! Эко тебя, Дарья, разнесло! Замуж! В пятый раз что ли? Ну, нет, это уж, голубушка, ты явно загнула, это уж увольте! Этого даже ради дурака Сан Саныча не надо ни в коем случае. Влюбиться – это я ещё, пожалуй, если сильно напрячься, могу. В миллиардера или в блондина, как «фишка ляжет», а вот замуж в пятый раз… Нет! Это только в тревожном сне после откровенного обжорства на ночь!

Потенциальное замужество однозначно следует безжалостно удалить из списка «могу» и включить в список «никогда» с восклицательным знаком, а лучше сразу с тремя, как сигнал «alert!!!», «полное внимание!!! опасность!!!», точно с теми же интонациями, как «караул, грабят!!!» Интонации обозначить как-нибудь особо, чтобы в глаза бросалось.

Я встаю, чтобы вскипятить уже остывший чайник, и с новой чашкой горячего чая продолжаю свои бездельные воскресные размышления о сути собственных фантасмагорических ближних и дальних перспектив, чтобы хоть как-то отвлечь себя от нестерпимой боли, терзаю-

щей днём и ночью мою дичающую от одиночества душу. Дети уже третий день не звонят… И Павел куда-то пропал…

Когда благополучно развалился мой третий брак, я в полном отчаянии размышляла на балконе своей городской квартиры о свалившемся на меня одиночестве, правда, при совершенно иных обстоятельствах. Жизненная ситуация была абсолютно тупиковой. Тогда мне хотелось умереть. А через четыре года я плыла с Павлом на сказочном белоснежном лайнере на Гавайи. Ага, вот оно в чём дело! То-то меня всё на яхты с лайнерами тянет. Я уже и забыла совсем, что безумно море люблю, но ничего, озеро тоже неплохо!

Плыла с Павлом на белоснежном лайнере и была любима и счастлива. Кстати, брак был четвёртым, а вот свадебное путешествие – первым. Первым, подумать только!

Ну, хоть что-то в этом браке было впервые…Ох, и чего это я злая такая прямо с утра? Надо добреть, а то до вечера не дотяну. Так что пусть хоть одно из четырёх возможных, но свадебное путешествие в моей жизни было. Было… Да ещё какое! Море, залитое солнцем, блестело иссиня-черным атласом, облака над ним раскачивались и плыли как сказочные каравеллы… Чайки… Нет, чаек я что-то не припомню.

Мы с Павлом сидели на верхней палубе, и «ветер скользил нежно по нашим губам, утомлённым поцелуями». Просто живое начало сентиментального романа. Господи, сколько же мы тогда целовались! Надо вспомнить, я ведь тем вечером написала что-то красивое. Ах, да, вот это:

«Горел неистовый закат, пылало небо,
и бились волны наугад о быль и небыль.
И уплывали острова всё дальше, дальше,
как драгоценные слова без лжи и фальши.
Мешалось мыслей хвастовство, подобно бреду,
и праздновало естество свою победу.
И раскрывалась вновь душа в немом познанье,
и приобщалась не спеша к Великой Тайне.
В неярком свете хрусталя глаза сияли
так, словно капли янтаря в глубинной дали.
А воздух прянен – только тронь – стихом струился.
И мой огонь в твою ладонь слезой скатился».

А что? Неплохо получилось, вполне искренне. Хорошо, об этом хватит. В этом направлении двигаться больше не будем, а то вечером опять придётся таблетки глотать на сон грядущий.

* * *

Четыре неудавшихся брака… Кто бы мог подумать? Просто как у Хемингуэя! Ну, хоть в чём-то к гению мировой литературы приблизилась. Да… четыре брака – это круто. Это у меня-то, с моим фундаментальным подходом к жизни, с моими безупречными родителями?! Что ж ты спишь, наука генетика? Проспала ты меня, проспала…

Алька права, главное – начать. Развод равноценен прыжку с парашютом: первый пугает, а потом всё как по маслу. Но первый прыжок уж точно был неизбежен. Хорошо ещё, что быстро прыгнуть решилась, а вдруг бы всё на годы затянулось. Просто с тоски удавиться можно от одной мысли.

А какое было начало?! Ах, какое было начало! Мы оба тогда захлебнулись своей пылкой, детской любовью. Никого и ничего не видели вокруг, рук разжать были не в силах. Шекспир отдыхает! И не он, чего там греха таить, а именно я на том новогоднем вечере, последнем

школьном вечере, если не считать выпускного, твёрдо решила, что нам надо срочно пожениться.

Срочно! Сразу после получения аттестатов, не дожидаясь вступительных экзаменов, потому что терпеть даже короткую разлуку не было никаких сил. А целоваться часами в парке или подъезде, доводя себя до полного исступления и отчаяния, совсем уже невыносимо.

Помню, как мама, долго молча наблюдавшая, как я тону в своём обморочном чувстве, удручённо спросила:

– Ты что же беременна уже что ли?

– Ну, что ты такое говоришь, мама! – возмутилась я в жутком смущении, – не было у нас ничего и ничего до свадьбы не будет!

– Ах, вот оно в чём дело! – насмешливо и горько сказала она. – Лучше бы вы уж переспали что ли, может, тогда жениться не приспичило бы!

– Какая ты, мама, циничная. У нас совершенно другие отношения! – продолжала я возмущаться.

– Другие так другие, – вздохнула она равнодушно и пренебрежительно пожала плечами. – Значит, как быстро поженитесь, так быстро и разженитесь, раз другие отношения. «Come light – go light!», как любят говорить англичане. Женитесь, раз приспичило!

Для тех наших отношений лучшего слова, чем «приспичило», не подберёшь. Так приспичило тогда, что после скромной нашей свадьбы (родители с обеих сторон понимали скоротечность наших отношений и шиковать не стали) мы весь медовый месяц просто не вылезали из постели.

Когда, наконец, мы оба, исхудавшие, облезлые и растерянные, выползли на свет божий из скомканных до невероятия простыней и оглянулись вокруг, то оторопь взяла. Мёд иссяк вместе с розовым флёром весенних облаков. Осталась одна безбрежная пустыня Сахара! Говорить буквально не о чем. Постанывая валяться в постели не было уже ни сил, ни, что самое интересное, желания. Вступительные экзамены подействовали как отрезвляющий душ, а начало студенческой жизни, слава богу, в разных вузах, быстро нам обоим показало, насколько мир интереснее за пределами нашей душной спальни.

И мы разбежались в разные стороны, не оглядываясь, стремительно, без упрёков и скандалов, ещё до первой сессии. Так что стартовый прыжок с парашютом оказался вполне удачным. Другие разводы не обошлись без травм и потерь.

Пять университетских лет пролетели как один день. Прошмыгнули стремительно между вечеринками, экзаменами, студенческими концертами по разным поводам и в самых неожиданных местах, включая детские дома и исправительно-трудовые учреждения. Пронеслись без остановки через конкурсы, курсовые, дружбы, ссоры, встречи, лёгкие влюблённости. Порадовали от души тремя восхитительными летними практиками и затормозили, наконец, у совершенно нежданно возникшего, но тем не менее неизбежного препятствия – написания и защиты диплома.

И тут на мою беззаботную голову рухнула очередная лавина. Я опять влюбилась. Страстно и, казалось, совершенно безнадежно. Предметом моей новой любви, разъедающей, как раковая опухоль, каждую клеточку моего организма, был не однокурсник, не ровесник, нет. Это был вполне зрелый мужчина, пятнадцатью годами старше меня. Доцент! Подумать только! руководитель моей дипломной работы.

Высокий, стройный, в красивых массивных очках, читавший нам на лекциях часами на память сотни стихов поэтов Серебряного века и запрещённого тогда Иосифа Бродского, японскую и китайскую любовную лирику, от которой нежно покалывало во всём теле.

Слово *любовь* мерцающим облаком расплывалось по аудитории, убаюкивая, расслабляя, унося в мир несбыточных грёз. Короче, безнадёжность моей ситуации заключалась не в том, что мне было двадцать два, а ему тридцать семь, не в том, что я была студентка, а он мой учи-

тель, а в том, что все девицы филфака были в него влюблены, включая и наших воистину голливудских красавиц Берсенёву и Потоцкую. Я понимала, что конкуренции мне, серой птичке, не выдержать.

Кстати, Василий Петрович при всех достоинствах к своим тридцати семи годам женат не был. Ни разу! Впрочем, какие у него были достоинства, кроме глубокого знания предмета, я ни тогда, ни сейчас не взялась бы сформулировать.

Мне, вместо того чтобы влюбляться, надо было как-то призадуматься, отчего столь утончённый человек до сих пор не встретил свою половину, но… Я буквально пожирала его глазами во время лекций, я обмирала от звука его голоса на консультациях, я так старательно выполняла все его задания, что сокурсники начали сокрушённо качать головами: «Ну, ты, мать, даёшь! Это ж надо так втюриться!»

Незадолго до защиты диплома после очередной консультации ко мне подошла наша красавица Сонька Берсенёва и так, как бы между прочим, сказала:

– Ты, подруга, прежде чем с Васенькой нашим в постель ложиться и в ЗАГС топать, вначале к мамочке его дивной присмотрись.

– Соня, ты это о чём? – поразилась я. – У нас с ним нет ничего, кроме работы над дипломом. Никакой постели, никаких предложений замужества, да и вообще…

– Ага, работы над дипломом, – язвительно скривилась Берсенёва. – Ну, и чего там вообще? Не легла ещё, так ляжешь! Не делал, так сделает! Он такую преданную влюблённость не может не оценить. Вижу я и твои глаза больной собаки, и как он на консультациях на твои еле прикрытые коленки пялится. При этом мурлычет, как мой котяра в предвкушении добычи. Замуж он тебя после защиты обязательно потащит, – утверждала моя опытная подруга. – Он человек практичный, а ты невеста завидная – папочкина дочка! Такие, как у тебя, предки на дороге не валяются, – и продолжила мечтательно и игриво: – Я бы вот с Серёженькой, с папочкой твоим, переспала бы, пожалуй, при удобном случае с удовольствием. А потом, может, и от мамочки твоей увела! Ха-ха-ха! Господи, да не смотри ты так, шучу! А ты советом моим, Дашка, не пренебрегай. Совет дельный, помяни моё слово! Дарю безвозмездно!

– Сонь, а ты чего это советы раздаёшь направо-налево, да ещё и безвозмездно. Сама что ли замуж хочешь, да не приглашают?

– Дура ты, Дашка, хоть и умная! И хотела, было дело, не скрою. И приглашал, ещё на третьем курсе приглашал. В самый разгар сессии. Только я как с мамочкой его встретилась, так всё желание идти замуж в миг улетучилось! Вот теперь он на тебя глаз положил. Я всё время думаю, чего это вы, умные и правильные, всегда по жизни полными дурами оказываетесь? Послушай моего совета, с мамой – с «самым его близким другом» – познакомься! Я тебе искренне добра желаю. Хорошая ты девка, вот и желаю!

А Софья и в самом деле ценным советом поделилась, хоть и первая красавица. Не ценным, а бесценным, как потом оказалось, был её совет. Только, как говорится, не в коня овёс травить!

* * *

– Дарья Сергеевна, добрый день! А я к вам. Вижу, что вы скучаете одна, решила вам компанию составить, – бесцеремонно вырывает меня из трепетных воспоминаний Оксана.

Она, как обычно не дожидаясь моего приглашения, уже хлопнула входной дверью и бодро топает наверх.

– Вот пришла поболтать по-соседски, развлечь вас, так сказать. Чаем угостите? У вас всегда чай отменный. Где вы его только берёте, ума не приложу? Я как ни куплю, всё не тот да не тот. Дорогущий, наверное? А у меня всё равно никто в чаях не разбирается! Им хоть что, лишь бы побольше да послаще. Не дом, Дарья Сергеевна, а просто прорва какая-то, – не прерываясь

ни на минуту, тараторит Оксана, со вкусом громко отхлёбывая чай и набивая рот очередным круассаном. – Да ещё Машкины с Ванюшкой друзья-приятели! Вот дети нахальные, скажу я вам. Хорошо, ваши-то «оглоеды» выросли и поразъехались, вам раздолье – одна-одинёшенька в таких-то хоромах! – она завистливо оборачивается в сторону дома. – А мои, саранча!

«Адское терпение надо иметь, чтобы ежедневно выносить Оксанину глупость», – думаю я о Елене Дмитриевне.

– Со свекровью живём, сами понимаете. Вот так и кручусь, а с вами люблю душу отвести. Вы человек культурный, интеллигентный. Все бы соседи такие были – рай, живи не хочу. А то вот хоть Теплицких взять. Это соседи мои, те, что справа, да вы знаете Теплицких, видела, как вы к ним захаживаете, – немного обиженно отмечает Оксана. – И он, и она – оба заносчивые такие, думают, что всё им позволено. Одно слово, евреи! Сколько я с ними ругаюсь: «Уберите сирень от забора – она мне тень на участок даёт. Не положено большие деревья возле забора сажать!» Как об стенку горох. Смотрят на меня так сочувственно, будто я больная, а сами даже пальцем не пошевелили и твердят одно: «Цветёт красиво». А что мне с её цветения? – продолжает зло причитать Оксана.

Я слушаю её молча. Теплицкие – мои друзья и очень милые умные люди, но нет пути защитить их от Оксаниного хамства. Что ей ни скажи, не поймёт. Для восприятия человеческого языка туповата (ходят по земле такие странные особи).

Оксанины визиты для меня – регулярное, хотя и краткосрочное цунами. Подолгу она, к счастью, не задерживается: соседей на её пути много. Правда, по Оксаниному непоколебимому убеждению, я из всех самая свободная. Оксана искренне считает, что я не работаю, и мне без стеснения за чаем с круассанами эту свою искренность выкладывает.

В связи с моим хроническим бездельем на меня Оксана отводит обычно час. Мои лекции в университете, а уж тем более литературные мои потуги она за работу никак не считает. Что же касается, к примеру, моих размышлений о сути бытия и нынешних, нежданных и трогательных, воспоминаний о моих браках, то, я думаю, если этим предметом с ней поделиться, у неё ещё чего доброго, инфаркт с инсультом случатся, причём, возможно, вопреки данным науки обе болезни одновременно.

А что, хорошее оружие! Можно опробовать, когда станет совсем невмоготу терпеть её тупой бабский трёп. Впрочем, как знать, тема для сплетен знатная, если заинтересует, тогда уже для меня будет шикарный выбор: петля или инсульт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.